

РИЖСКИЙ альманах

РА4

ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ПУБЛИЦИСТИКА
ОБЗОРЫ
ПЕРЕВОДЫ
КРИТИКА

№ 4 (9)



ЛОРК, Рига, 2012

СОДЕРЖАНИЕ:

Рецензии, заметки о новых изданиях

Ирина Цыгальская

Достоверность, смелость, оригинальность 5

Юрий Касянич. В поисках янтаря 12

Наталия Большакова

«Между вымыслом и откровеньем» 17

Анда Кубулия. Книга о любознательном
и замолченном рыцаре духа 20

Светлана Погодина

Шум времени Александра Чака:
попытка новых переводов 25

Аркадий Неминуций

По ступеням лет на берегу большой реки 31

Анна Иванова. Книжные новинки 34

Инара Озерская, Владимир Новиков

Человек в раме 41

СТИХИ

Анна Григорьева. Из лирики последних лет 46

Елена Васильева. Дорожные этюды 48

Инара Озерская. Дом 54

Ингмара Балоде. После потопа 57

Марис Салейс. Это мое место 60

Проза

Инара Озерская. Забытый язык 63

УДК

Издается при поддержке Латвийского фонда капитала культуры

Редакционная коллегия:

Е. Матьякубова

Вл. Новиков

Т. Зандерсон

Гл. редактор и составитель: Ирина Цыгальская

Корректор Алексей Герасимов

Макет Виктории Матисон

ISBN

ЛОПК, 2012

Яков Берг (отец) и Святослав Берг (сын) Три «товарища» одного Поэта	68
Воспоминания	
Наталия Воронцова. Дома	86
Вероника Тихомирова Остаётся добавить немного	91
Анна Груздева. Верхом на времени	97
In Memoria	
Четыре письма	125
Лариса Романенко. Стихи 2004 – 2006 гг.	130
К портрету творческой биографии Светланы Хаенко	136
Владимир Френкель Памяти Лены Дымарской	146
Племя младое	
Анастасия Стародедова Из цикла «Когда время заканчивается»	150
Белла Берзиня. Сухари	155
«Бывшие рижане»	
Михаил Астановский. Рассказы	159
Память и беспамятство	
Борис Равдин «Саласпилс» в письмах из «Саласпилса» и газетных статьях 1942-1944 гг.	162
Нинель Крамер. Война и после войны	185
Константин Орлов. Как я искал Толстого	190
Сведения об авторах	202

Ирина Цыгальская

ДОСТОВЕРНОСТЬ, СМЕЛОСТЬ, ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

Заметки об издании: «Avoti». Труды по балто-российским отношениям и русской литературе»

«Этот новый том из посвященных в Stanford Slavic Studies балтийско-русским связям, выпускаемый в сотрудничестве с Институтом славянских языков и культур Таллинского университета, отмечает 70-летие историка и литературоведа Бориса Равдина».

(Из предисловия к изданию)

Двухтомное издание „Avoti” выпущено в 2012 году под редакцией Ирины Белобровцевой, Аурики Меймре (Таллинн), и Лазаря Флейшмана (Стэнфорд).

Несколько слов по поводу необычных – на первый взгляд – названия и посвящения.

„Avoti”. Так и хочется повторить заглавие книги статей Р. Тименчика – «Что вдруг?» Да: что это вдруг у этой книги латышское название? В переводе на русский язык avoti – это источники, родники, ключи. То есть, это, значит, сигнал, что статьи, исследования строго следуют прежде всего – источникам. Одновременно это также и аллюзия на издававшиеся в начале 90-х годов прошлого века – параллельно на латышском и русском языках (но не совпадающие по содержанию с точностью один к одному) – журналы „Avots”/«Родник». Журналы просуществовали недолго, но оставили по себе добрую память – как знак наступления новой эпохи, при сохранении непреходящих традиционных ценностей, художественных, литературных.

Точно также «что вдруг?» можно спросить и о посвящении: в этом новом выпуске у Б. Равдина нет ни одной статьи. Однако, чуть не в каж-

дой работе первой книги обнаруживается ссылка, а то и несколько, на предыдущие исследования этого рижского историка культуры; есть они и во второй книге.

Из предисловия: «Б. А. Равдин занял почетное место в нашей профессии благодаря новизне и высокому уровню его публикаций, отличающихся строгой точностью подхода к фактам, взвешенностью и осторожностью – и в то же время оригинальностью и смелостью – формулируемых выводов».

К общей характеристике издания надо еще добавить, что здесь под одной обложкой встречаются исследования историков и литературоведов как русских, так и латышских, эстонских.

Из-за ограниченности объема этих заметок невозможно хотя бы несколько слов посвятить каждой работе, а простое перечисление ничего не даст. Поэтому вкратце – о нескольких: тех, которые оказались наиболее важными, или чем-то задевшие. Хотя интересно и важно многое. Да всё интересно...

Находки, ссылки, изложение и выводы исследований и статей смещают, а иной раз и вовсе переворачивают привычные представления об исторических событиях в нашем регионе в 20 – 30, предвоенные, военные и послевоенные годы прошлого века. Например, как неоспоримая истина преподносилось, да и теперь преподносится, мнение, что главные участники и даже вершители переворота в России – инородцы, а вовсе не русские люди; в основном – евреи и латыши. И те, и другие и на самом деле были настроены революционно, по крайней мере – значительная часть. Объяснение тому – готовность большевиков предоставить окраинам империи право на самоопределение, образование независимых государств, что и реализовалось на практике: в 1918 году от России отделились в том числе и балтийские страны. Надеялись на лучшую участь при советском строе и евреи...

Но всех ли привлекал именно большевистский режим?

Томс Кикутс в своем исследовании «К истории латышских антибольшевистских организаций и войсковых частей» пишет: «Латышский национальный совет Сибири и Урала активно боролся против «карательных экспедиций» в латышских колониях и против антилатышской агитации [...]. Эмиссар Сибирского и уральского латышского национального совета в Томске сообщал: «Газеты каждый

день кричат, что латыши – большевики, латыши – коммунисты... советское правительство держится только на них и т. д.... латыши всюду, латыши и опять латыши! И откуда их так много взялось, если не полных 3 миллиона всего... »» (т. 1, стр. 46).

... Теперь от 3 миллионов остались неполные два. Но это не мешает современному латышскому автору Отто Озолсу в книге „Latvieši ir visur” («Латыши всюду»; Р., 2010) вновь рассказывать о массах латышей, пребывающих в разных странах и в разных ипостасях...

При чтении объемного исследования о первом российском консуле в независимой Латвии Вл. Преснякове тоже охватывает впечатление, что речь идет о сегодняшнем дне. Только нет тех российских эмигрантов, которым дала приют в 20 – 30 гг. Латвия, в чем ее упрекает российское правительство: они, якобы, готовятся к войне против новой России. Насколько реальна подобная угроза, другой вопрос, однако, не секрет, что объединения, союзы монархистов во многих странах питали надежду на возвращение прежней России. Авторы исследования пристально вглядываются в поступки, вслушиваются и вникают в произнесенные слова и заявления, документированные записки, письма Вл. Преснякова, предлагая и читателю вместе с ними понять, например, насколько тесно он был связан с монархистами в Латвии. И чем он больше руководствовался в своих поступках: на самом ли деле демократическими убеждениями, которые диктовали лояльность по отношению к только что возникшей независимой республике, или разделял надежды монархистов. С которыми тоже все было совсем не так просто: их чаяния, во всяком случае, определенной части, также могли связываться и с надеждами на переустройство России, только не большевистскими методами.

Но, может быть, главнейшим делом для Преснякова было устройство собственной жизни, а его убеждения не простирались дальше эпикурейства.

В самом начале своего исследования авторы представляют первого консула «незначительной, маргинальной» фигурой. Однако, в дальнейшем изложении – не без иронии или просто вхождения в игровой контакт с изображаемой личностью – фактов и слов можно уловить и другой оттенок. А именно – Э. Якобсону и Л. Флейшману удастся создать образ сложный и противоречивый. Несмотря на то, что в конце концов все равно приходится заключить: перед нами... обыкновенный

человек, который и сам порою не знает, каковы его убеждения, есть ли они вообще. Скорее всего – нет. Пресняков любит жить, хочет пожить хорошо. Вращаться и быть фигурой в обществе, сладко есть и пить. И он преуспевает в достижении своих желаний. Правда, кончает плохо – попадает в тюрьму. Но не за политику: за уголовные преступления...

Из трудов первого тома привлекает внимание исследование Романа Тименчика (Еврейский университет в Иерусалиме) «Латвийские топосы и локусы в русском стихе». На первый взгляд это обычная литературоведческая статья. Автор рассматривает стихи латвийцев; ему интересны переживания «залетных» стихотворцев, в изобразительных средствах которых «топосы и локусы» выполняют звуковую роль, укрупняют масштабы для зрительного восприятия, выстраивают ассоциативный ряд. Он замечает: «Волей исторических обстоятельств идиллический топос возникал в латвийских локусах неоднократно»... (т.1, стр. 256) и этими словами как бы подготавливает кульминацию: «преодолением идиллического топоса было стихотворение Наума Коржавина «Братское кладбище в Риге», высоко оцененное в 1962 году Анной Ахматовой...» (т.1, стр. 257). Далее автор статьи целиком цитирует стихотворение. Думается, надо повторить столь же полное цитирование и в настоящих заметках:

Кто на кладбище ходит, как ходят в музеи,
А меня любопытство не гложет – успею.
Что ж я нынче брожу, как по каменной книге,
Между плитами Братского кладбища в Риге?

Белых стен и цементных могил панорама.
Матерь-Латвия встала, одетая в мрамор.
Перед нею рядами могильные плиты,
А под этими плитами – те, кто убиты. –
Под знаменами разными, в разные годы,
Но всегда – за нее, и всегда – за свободу.

И лежит под плитой русской службы полковник,
Что в шестнадцатом пал без терзаний духовных.
Здесь, под Ригой, где пляжи, где крыши косые,
До сих пор он уверен, что это – Россия.

А вокруг все другое – покой и Европа,
Принимает парад генерал лимитрофа.
А пред ним на безмолвном и вечном параде
Спят солдаты, отчизны погибшие ради.
Независимость – вот основная забота.
День свободы – свободы от нашего взлета,

От сиротского лиха, от горькой стихии,
От латышских стрелков, чьи могилы в России,
Что погибли вот так же, за ту же свободу,
От различных врагов и в различные годы.
Ах, глубинные токи, линейные меры,
Невозвратные сроки и жесткие веры!

Здесь лежат, представляя различные страны,
Рядом – павший за немцев и два партизана.
Чтим вторых. Кто-то первого чтит, как героя.
Чтит за то, что он встал на защиту покоя.

Чтит за то, что он мстил, – слепо мстил и сурово
В сорок первом за акции сорокового.
Все он – спутал. Но время все спутало тоже.
Были разные правды, как плиты, похожи.
Не такие, как он, не могли разобраться.
Он погиб. Он уместен на кладбище Братском.

Тут не смерть. Только жизнь, хоть и кладбище это...
Столько лет длится спор и конца ему нету,
Возражают отчаянно павшие павшим
По вопросам, давно остроту потерявшим.
К возражениям добавить спешат возраженья.
Не умеют, как мы, обойтись без решенья.

Тишина. Спят в рядах разных армий солдаты,
Спорят плиты – где выбиты званья и даты.
Спорят мнение с мнением в каменной книге.
Сгусток времени – Братское кладбище в Риге.

Век двадцатый. Всех правд острия ножевые.
Точки зренья, как точки в бою огневые.

(т. 1, стр. 258 – 259).

Хотелось бы, вслед за Р. Тименчиком, процитировать еще одноименный сонет Вл. Британишского, «Видимо, отправляющийся от этого ходившего в «самиздате» стихотворения»: он «тоже противопоставляет идиллической установке мотив тяжести» (т.1, стр. 259); строки Ахматовой...

Кажется, эти абзацы становятся кульминацией не только в исследовании Р. Тименчика, но и во всей книге „Avoti”.

Во втором томе издания с легкостью, почти как детективная история, прочитывается работа Александра Данилевского (Таллинский университет) «Я должен был бежать в Ревель»: «Шурин экс-кайзера» в освещении русской зарубежной прессы», в центре которой – русский эмигрант Александр Зубков, в возрасте 28 лет женившийся в 1927 году на младшей сестре последнего германского императора Вильгельма II Фредерике Амалии Вильгельмине Виктории. В момент бракосочетания невесте шел 62-й год.

Фигура Зубкова – трагикомическая; о нем в тогдашней эмигрантской русской печати появляется множество статей и фельетонов, смешивающих действительные факты с вымыслом. Фельетонисты зубоскалят, осуждают, сочувствуют. В особенности «веселится» фельетонист-юморист парижских Последних Новостей Аминадо (А. П. Шполянский). Правда, позднее Аминадо начинает относиться к Саше Зубкову все добродушнее, награждая его множеством добродетелей, якобы присущих российской эмиграции, и этот собственноручно им слепленный образ представляет 19 окт. 1930 года на своем ежегодном авторском вечере, названном на сей раз «Суд над русской эмиграцией». Вот несколько выдержек из «Речи защитника» на «Суде»:

«...А ткнитесь вы в Париже на пляс Пигаль, и вам действительно, покажется, что вы бредите!...»

Цыгане – русские, балалаечники – русские, американский джаз – русский... гарсоны – русские,... и даже знаменитые Черноземов-систер тоже русские!» (т.2, стр. 64).

Не походит ли это на упомянутую выше цитату из пропагандистской статьи в Томской газете о вездесущих латышах? А также на современную книгу Отто Озолса «Латыши – всюду».

Аминадо в 1930 году язвит и подтрунивает; Томс Кикутс сегодня, устами эмиссара Сибирского и уральского латышского национального совета в Томске, горестно иронизирует...

Аннели Кывамеэс (Таллиннский университет), напоминая в своей статье «Иваны и герои. Заметки о военной прозе Эстонии 1940 – 1950-х гг.» (перевод И. Белобровцевой) о том, что эстонская литература в середине 1940-х гг. разделилась на две части: советской Эстонии и эстонской эмиграции, замечает: «В послевоенное десятилетие... образы немцев... плоскостные, карикатурные, предельно отрицательные... в эмигрантской прозе русские рисуются жестокими... в прозе советской Эстонии эта роль отведена немцам» (т. 2, стр. 252).

Но в литературе подобное черно-белое разграничение довольно скоро уступает место более широкому и углубленному изображению, тогда как в официальной жизни оно пронизывает общество еще долго: им кормится вот уже несколько поколений, обвиняя во всем «пережитки капитализма», а в последние 20 лет – «социализма».

В рассматриваемом издании немало страниц, отмеченных трагизмом переживания гуманитарной катастрофы в Европе XX века. Статьи, сообщения, исследования написаны не без осознания политических аспектов происходившего, происходящего. От этого не утрачивается расширение дименсий, углубляющее понимание, ведущее, может быть, к нахождению необходимого – и возможного, приемлемого – компромисса: в жизни, в политике, в частных отношениях...

Юрий Касянич

В ПОИСКАХ ЯНТАРЯ

(вместо рецензии на книгу Л.Ланги «Вещество взгляда» в переводе М.Макаровой)

Всякая хорошая книга – это тайна.

Книга Л.Ланги, по-моему, хороша уже тем, что в ней открываются новые полутона слов и скрытые обертоны семантических смыслов!

Когда *«ветер весны сгоняет белый жир жизни»... когда посылаешь свои сны «почтовым голубям, // клювы которых отстукивают опасность // о подоконник нового столетия».*

Легионы слов, всемирные лексиконы повсюду теряют силы, гибнут на невидимой войне, размазанные по хайвэям колесами гудящих автомобилей, растоптанные маршами хрипящих оппозиций на брусчатке площадей, раздавленные черными резиновыми губами кабин лифтов, измельченные в блендерах эстрады и бульварного чтива.

В эпоху неудержимой маргинализации русского языка, когда оспаривается самая необходимость правописания безударных гласных, нужны события, которым под силу противостоять эрративу, которые способны, словно противотуманные фары, прошить надвигающуюся серую пелену...

Приведу цитату из интервью Лианы Ланги газете «Диена»: *«Великий немецкий писатель Гюнтер Грасс сказал, что переводчики – его ближайшие родственники. Много лет назад Милена Макарова перевела несколько моих стихотворений для латвийско-российской конференции в Вентспилсе, и мне стало ясно, что она отличный переводчик. Теперь, когда появилась возможность опубликовать книгу в Москве, она собралась с духом и выполнила огромную работу. [...] Директор библиотеки имени Ивана Тургенева (Т. Е. Коробкина – Ю.К.) сказала, что чтения и сами стихи позволили ей по-новому взглянуть на родной язык.»* (перевод мой – Ю.К.)

Мне думается, что тайна, к которой прикоснулась Милена Макарова и которой наполнила книгу, обращенную к русскому читателю, дала в результате новый творческий сплав двух элементов современной культуры – балтийского русского наречия (языка, что зачастую чище, правильнее и богаче того, который все чаще использует метрополия и в сетях, и в средствах массовой информации, и в необозримых

морях коммерческой «литературы») и непростой, энергетически и эмоционально наполненной всеми стихиями мира поэтики Лианы Ланги. Благодаря точной работе Милены Макаровой сборник стихотворений Лианы Ланги «Вещество взгляда» возвращает читателю послевкусие настоящего русского языка. Вкус высокого слога, голоса вечных энциклопедий. *«Как мокрый и зеленый чайный лист // В мои глаза внезапно вплыло небо. // И тесно не было. Так нежно задевали // Мой остов звездные большие корабли...»* («Безродные.1»). Какой изумительный звуковой импрессионизм! Вкус родниковой воды.

«Поцелуи людей весной приготовлены // из вишен и солнцем раздробленного льда.»

Заповедное ощущение соловьиной чистоты и музыкальности, приходящее со *«звуками, рвущие нежные нервы // Тишины, жирным углем, который если нажать рисует // Черты, искаженные на золотистой коже дневного сна.»* («Безродные.5»)

Милена Макарова в очередной раз доказала, что виртуозно владеет поэтическим тезаурусом. Милена предложила нам не только прочитать стихи, но и пролистать редко навещаемые страницы словарей...

Книга издана в одном из престижнейших московских издательств «Арт Хаус Медиа» при поддержке культурных заведений Латвии: Латвийского государственного Фонда культурного капитала и Латвийского литературного Центра.

Красота реки всегда виднее с воды. Переводчик, как перевозчик, ведет-везет нас по реке поэзии, прихотливой, стремительной или плавной, опасной или спокойной, зная точный фарватер и выбирая путь, проследовав которым, мы откроем для себя потаенные, внезапные, пронзительные пейзажи души.

Переводить поэзию Лианы Ланги – это все равно, что искать янтарь где-нибудь на Видземском побережье... Остается только гадать, сколько часов провела Милена Макарова вблизи балтийских волн, пытливым, стерегущим взглядом сивиллы всматриваясь в сырую полосу пляжа – не сверкнет ли среди наивных ракушек, обкатанных деревяшек, камней, мотков морской травы и пластмассового мусора цивилизации матовый кусочек янтаря, настоящий сгусток времени и солнца.

Если бы мне предложили подобрать музыкальное оформление к стихам Лианы Ланги – я бы скорее всего обратился к музыке Шостаковича, Шенберга, Шнитке. Не знаю, почему совпали три композитора с фамилиями, начинающимися на одну шипящую согласную... Может быть, потому, что в стихах Лианы иногда присутствует звук, который раздается, когда раскаленная звезда падает в сонное озеро или когда кузнец окунает в чан только что выкованную подкову.

Ее пейзаж – далек от безмятежности и пасторали, она остро чувствует время: как оно завязывается, возникает в бутонах цветов и «как черная кровь слоями медуз ложится в песочных часах» («Безродные.3»). Она не страшится «взглянуть в лицо часам, увидеть время // той боли, что закончилась, и вихри, влюбленными оставленные...» («Есть у пространства...»). Она смотрит на все мудрым, понимающим взглядом, перед которым уже не раз открывались покровы мира, ее непросто чем-то удивить и поэтому ее лирическая героиня не страшится откровенно заявить, что «похожа на землю перед заморозками, // Потрескавшуюся, как ладони гробовщика» («Взгляд.5»). И мне видится, что дополнительным сопровождением всегда – в горах или за лесом – на небе играют сполохи отдаленных и неслышных гроз...

В интонациях и звучании ее стихотворений мне то явно, то едва ощутимо слышится голос выдающейся перуанской певицы Имы Сумак...

Я задумываюсь – а как Лиана пишет стихи? Мне видится какая-то уединенная просторная мастерская, скажем, гончарная... «На языке совы сказал мне кто-то «Бог»» («Безродные.1»). На берегу моря, которое длинной волной припадает к земле, окутывая берег недолговечными кружевами пены, и, шепнув что-то неразборчивое, уходит, не прощаясь, в свой бесконечный мир...

Лиана ходит вокруг гончарного круга, словно колдует... Круг вращается... Где-то сбоку стоит огромный ушат с шамотом, залитым водой, в мутноватой амальгаме которой попеременно отражаются сменяющие друг друга луна и солнце... Лиана, наклоняясь, берет кусочек шамота, сворачивает его в пальцах, словно конфету, и через мгновение – мотылек, выпорхнув из ее рук, улетает навстречу счастью ли, погибели, в море или в «сады цивилизации: горящие танкеры в океане, пылающие самолеты в небе, люди, сжигающие себя у памятников, часто перед толпою. Любопытные равнодушно смотрят,

как загораются у человека волосы, потом рукава. Руки еще долго машут сами по себе» («Сообщения для рук и камней. 7»).... Колдунья и сама не всегда знает, куда... Потому что «асфальт растворяет в себе гербы опущенных взглядов» («Безродные.3») Потому что «взгляды людей понемногу заболачивают небо». («Сообщения для рук и камней. 23»).

Все происходит само по себе, но в нашем – зачастую молчаливом – присутствии и при нашем – нередко отстраненном – участии.

В своем творчестве Лиана Ланга толерантна и демократична. Жизнь и смерть в ее мире равновелики. «Свет – это другая тьма, тьма – это другой свет. Не мешайте им, упоминая так часто» («Сообщения для рук и камней. 24»). И краски и для той и для другой могут быть одинаковы. За этой кажущейся парадоксальностью скрывается мудрое восприятие бесконечности сущего, которое выражается в неких условно классифицированных периодах: рождение – жизнь – смерть – бессмертие как новое рождение... В стихах, посвященных ушедшим собратям по цеху, это читается именно так. **К тому же, бытие – согласно Ланге – это часто форма небытия: «В небе облака сваливаются в комки точь-в-точь как в дешевых гостиницах синтетические подушки» («Безродные.2»).** Ее тяготит прямоугольная ограниченность пространства, ее внутреннее зрение стремится нащупать новые измерения... Из стихотворений вырывается возглас печали, печали осознания, что она сама заперта во времени, что мы больше не оставляем отпечатков пальцев (здесь немедленное эхо Цветаевой – «с этой безмерностью в мире мер»). Более того – «песок возвращается в нас» («Безродные.3»).... Бытие драматично и даже трагично, поскольку камень – оказывается – это распространенная форма существования, даже форма жизни (sic!), в стихах ощутимо глубокое понимание и сочувствование жизни камня как сословия современной цивилизации, поскольку он бесконечен, поскольку в него «превращаются сливовое дерево... рыбные кости... окна и лица в окнах...» («Сообщения для рук и камней. 13»).

Любовь в интерпретации Ланги-Макаровой – красива красотой каррарского мрамора, одного из тех современных вечности камней,

но мрамор – пожалуй, единственное, что она, эта любовь, позаимствовала из классики, любовь сегодня – прохладное и весьма четко очерченное, как контур губ, чувство. Определенно. Таковы правила постмодернизма. *«Я пристегнула свое сердце к твоему телу ремнем небезопасности...»* («Сообщения для рук и камней. 1»).

И невозможно сказать, следует ли кого-то винить за то, что любовь стремительно убывает, словно лунный серп, проходит, как бабье лето. Но любовь не покидает этот мир, она существует одновременно и как источник энергии и как часть всеобщей энтропии. Ведь многое в нашей жизни имеет дуальную природу.

Благодаря любви друг к другу можно преодолеть отчаяние и одиночество, потому что *«в объятьях влюбленных рождается новая родина...»* («Ветра.3»).

Благодаря любви к слову поэт может исполнить свою миссию – постараться «поведать облакам – о людях и не слышных миру песнях», «лаская курчавую шерстку времени-пространства».

«МЕЖДУ ВЫМЫСЛОМ И ОТКРОВЕНИЕМ»

(Некоторые мысли по поводу книги стихов Евгении Ошурковой «Вне сезона»)

Поэзия, это – высшая форма существования языка, устремление языка к тому началу, в котором было Слово.

«Поэзия, ты – слова день седьмой, / Его покой, его суббота». Вячеслав Иванов (Из книги «Римский дневник 1944 года»).

Иными словами, поэзия – это не будни, это – праздник. А праздник в его истинном смысле, то есть, в духовном (вертикальном) измерении – это, прежде всего, отсутствие суеты. У праздничного состояния своя харизма.

Но действительность, состоящая на сто процентов из суеты, не прощает поэзии и поэту отторжения от суеты, она пытается уничтожить или, хотя бы, подмять под себя поэзию. Поэтому «поэзия есть форма сопротивления реальности» (Иосиф Бродский). Хотя, темы ее, как например, темы лирического героя поэзии Евгении Ошурковой, традиционны: человек и природа, поиск смысла человеческого бытия, любовь, страдание, судьба поэта. Лирическому герою/героине – этому художественному «двойнику» автора книги «Вне сезона» присуща, порой, пронзительная искренность и «документальность» переживаний, порой – самонаблюдение, наполненное иронией, и исповедь, что создает ощущение реальности бытия, сотворенного автором. В некоторых стихотворениях ей так важно высказаться, выплеснуть, отдать, словно вырваться на свободу, но при этом сама она скрывается, замечает следы, не дает себя понять, узнать, встретиться с ней взглядом. Некоторые стихи тяготеют к фольклору с его безадресностью речи. В стихах Ошурковой мы часто слышим монолог, но это не монолог героини или героя, а монолог как результат отсутствия собеседника.

Но не надо думать, что между обстоятельствами жизни поэта и его стихами существует прямая зависимость. На самом деле, между стихотворением и жизнью существует именно независимость. Именно независимость стихотворения от жизни дает ему возможность появиться на свет. Реальность, созданная поэтом, – тоже жизнь, но

– другая, хотя – стихотворение может включать в себя элементы автопортрета. Только не надо стараться отгадывать факты биографии поэта по его стихам. Стихи Евгении Ошурковой и есть жизнь Евгении Ошурковой.

Восприятие – вот что может сделать любое событие значимым.

Поэтическое мышление Ошурковой создает свой собственный внутренний ландшафт, свой пейзаж с характерными для него приметами и красками, в которых отражается земной пейзаж родины: это готический город и краски, довольно пасмурные, туманно-дождливые оттенки Риги и побережья Балтийского моря, любимая с детства Юрмала.

Как выводок чаек для тех горласт,
Кто с морем не обручен,

Так бледно-розовый цвет пилястр
На взгляд чужака смешон.

Чем старомодней былой уют,
Тем злей к нему злоба дня.
Со временем в ногу? Нет, не поспеть!
И время сбивает спесь.

(«Заброшенная дача», стр. 120)

Вместо деревянных домиков – стекло и бетон,
Вместо ведра в колодце – джакузи в ванной.
И никто в ожидании молока не выставляет бидон,
Называя его при этом непременно канной.

(«Viktorijas», стр. 138)

Книга названа «Вне сезона», но парадоксальным образом, как раз времена года – лето, осень, зима, весна – важнейшие участники происходящего, без них не было бы этой книги стихов. Заметим, что весна, у которой впереди лето, – это вожденное пространство счастья, а «осень о лете скорбит...» (92).

Зима – это беда, с которой надо справляться, которую надо преодолевать, но в которой «никто не виноват», и от которой любимого надо защищать, как от несчастья, как от пули: «Но тебя не коснется зима никогда, обещаю тебе...» (87).

И ещё одно стихотворение: «Не заговаривай про юность» (17).

Поэзия Евгении Ошурковой героически пытается преодолеть ненастье, преградить ему путь, дерзновенно противопоставляя ему иронию, свет, юмор и ... песню. Песня с давних времен заложена в поэтический строй. Ведь известно, что поэзия старше прозы. Динамика поэтической речи – это динамика песни. Самую древнюю лирическую поэзию – псалмы – ветхозаветные евреи пели или читали нараспев в сопровождении музыкального инструмента, и в христианском богослужении библейская поэзия поется и сегодня.

И последнее, о чем хотелось бы сказать, – это о важности интонации в поэзии. Ибо для путешествия во времени стихи должны обладать неповторимостью интонации и видением мира, не существующим вне их нигде. Но это покажет опять же – время.

На этом остановимся, уступив место барду, а отныне и поэту – вышла книга стихов, а книга уже есть факт культуры, и она свидетельствует о вхождении Евгении Ошурковой в литературу. Пожелаем автору чуткого читателя, для которого эти стихи будут как хлеб насущный. Марина Цветаева сказала об этой связи как нельзя более точно: «Чтение есть соучастие в творчестве».

Рига, ноябрь 2012 г.

Два крупные литературоведческие исследования *

Часть II

КНИГА О ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОМ И ЗАМОЛЧЕННОМ РЫЦАРЕ ДУХА

(Монография В. Вавере «Виктор Эглитис», 2012)

Рыцарь духа – это человек, который заинтересован исключительно в культуре, искусствах, науке. Краткий момент таковыми могут быть многие, на протяжении всей жизни – редко кто. К этим редким принадлежит Виктор Эглитис; в самом начале 20 века ему удалось подключить латышскую литературу к европейскому, а также и ко всемирному течению модернизма. Народ, способный разглядеть высоты духа, прославил бы Эглитиса – за обращение к модернизму и укоренение античной культуры, за поиски проясненной национальной веры, – однако, одержимые неполноценностью латыши поступают иначе. Поверив жёлчно-саркастическим метафорам убежденных представителей социологической школы Я. Янсона (Брауна) и А. Упита и следуя предписаниям коммунистической идеологии, они предают забвению то, что приоткрывало их культуре путь к заинтересованным представителям других народов и освобождало от узости и пред-рассудков.

Монография «Виктор Эглитис» – пятая работа Веры Вавере об истоках модернизма в латышской литературе. Ей предшествуют послесловие к роману Х. Элгаста «Звездные ночи» (1999), предисловие к изданию романов П. Грузны «Бурсаки» и «Новое течение» (1992), предисловие к избранной прозе В. Эглитиса (2004) и написанная в соавторстве с Л. Спроге монография «Истоки латышского модернизма и «серебряный век» русской литературы» (2002). В. Вавере – знаток латышской литературы начала века, поэтому ей посильна эта задача: раскрыть события литературной жизни вековой давности, их контекст, с точностью вырисовывая в нем противоречивый образ неугомонного сеятеля идей Эглитиса: человека ненасытной жажды

знаний, непритязательного в быту, неустанно находчивого перед лицом жизненных трудностей, безжалостно дерзкого экспериментатора в области чувств и, как нередко бывает в подобных ситуациях, преодолеваемого фобиями.

В. Эглитис не обладает крупным талантом писателя, зато ему присущ выдающийся темперамент генератора новых идей, что для культуры не менее важно, чем Божий дар художника. Ибо творцов идей, способных к их воплощению, мир может предъявить меньше, чем одаренных стихотворцев. Эглитиса, к тому же, жгла ответственность – «расширение горизонтов латышского искусства слова и культуры писателей. Он неуклонно побуждал своих молодых друзей пополнять знания, учиться, осваивать богатства мировой культуры. Близким ему поэтам он предлагал обратиться к переводам прозы и поэзии, считая эту работу наиболее верным путем не только к расширению горизонтов литературы, но и к овладению мастерством поэта» (стр. 138). Тут невольно приходят на ум более поздние времена – те же устремления Кнута Скуениекса в 70-80-е годы 20 века, которые также способствовали развитию стилистики, обновлению поэтики.

Монографию В. Вавере структурирует по узловым жизненным точкам, не нарушая хронологической последовательности. Напротив: излагая по отдельности каждый узел, позднее, если требуют события, она как бы мимоходом еще раз касается нужного отрезка, органично присоединяя новую грань. Таким образом автору удается сконцентрировать богатейшее нагромождение слоев эпохи и биографических фактов, выделив самое важное для личности, жизни Эглитиса. Скажем, про Фаллия (которого Эглитис считал гением и самоотверженно заботился о его сохранении в истории литературы), о состязании между ними и почтительном отношении друг к другу находим лишь несколько страниц в четвертой главе. Однако, эти страницы настолько сильны, что в дальнейших касаниях не дают утопить Фаллия в болоте мелочей. То же и с Райнисом, после смерти которого Эглитис выдает себя за его продолжателя («на радость и удовольствие многих»), с Поруком, чей прекрасный надгробный памятник на Лесном кладбище сооружен не без его энергичного участия, или с Вирзой, когда характеризуются различия их взглядов: «Вирза прислушивался к советам Эглитиса черпать в закромах мирового искусства и философии, хотя на первое место все же ставил талант такого поэта, который обращается прежде

* Статья опубликована на лат. яз. в журнале „Latvju Teksti” (2012, 9).

всего к собственной жизни, земле. Он не согласен с убеждением Эглитиса, что настоящий поэт не может вырасти без формального образования, что ему необходимо высшее учебное заведение. [...] Может быть, уже здесь намечаются кардинальные отличия в подходе поэтов к искусству, ставшие одной из причин их отчуждения» (стр. 139). Конечно, каждый упомянутый (и неупомнутый) здесь персонаж заслуживает отдельного посвященного ему тома, особенно выдающаяся муза 20 века Мария Сталбова-Эглите, к сожалению, гуманитарные специалисты к высочайшим академическим вершинам восходят всю жизнь, да и даже не могут на них взобраться в зеленые молодые годы. К тому же исследователь не повторяет выводы прежних своих публикаций, скажем, об А. Ремизове (их можно прочесть в книге «Истоки латышского модернизма и «серебряный век» русской литературы»), но иллюстрирует их другими ситуациями.

У Эглитиса нищестанство было не только постигнутым разумом источником положительной энергии для обновления искусства, но и проникающим в душу структурным элементом сознания. Контуры противоположности всегда воспринимаются обостренно. Вавере без агрессивных возражений сумела чуждые ей свойства личности Эглитиса увязать с задачами выдвигаемых им идей, чему, разумеется, помогает вживание в ситуацию начала 20 века, в иные представления людей о мире. И вот именно этого недостает в рецензии К. Вердиньша «Где место Эглитису» („Kultūras Diena”, № 24); ее характеризует высокомерие талантливого молодого человека 21 века, обращенное против того, кому Бог отпустил меньший поэтический талант; автор рецензии игнорирует

тот факт, что генерирование идей, всеобъемлющая ответственность за национальную культуру – не меньший Божий дар, чем поэтическое дарование. Взгляд в наследие прошлого требует исторического подхода, нельзя, никак не аргументируя, заявить: произведения Эглитиса «не пережили своего времени и в наши дни их следует считать объектами культурно-исторического развлечения». Сердца молодых 21 века развлечения любезно, однако, против подобного использования творчества Эглитиса говорит всё исследование Вавере, где время от времени советуется переиздать то или иное прозаическое произведение Эглитиса, чтобы получить полную картину латышской поэзии.

Конечно, латышу, как и всему человечеству, чужды антисемитизм, симптомы расизма Эглитиса, поэтому я с восхищением приостанавливаю внимание на тонком допущении исследователя возможности возникновения зачатков подобных взглядов в подростковые годы в Витебске (иначе и впрямь приходится удивляться, откуда Видземский мальчишка, который в Сарканьской волости ни одного жида и в глаза не видел, мог «подхватить» такую фобию. А Россия еврейские погромы знавала). Вердиньш в своем гневе на Эглитиса тонкости В. Вавере в таком чувствительном вопросе, разумеется, не замечает, также, как словно бы пропускает мимо ушей горькое отчаяние Эглитиса, когда немцы избирают Латвию «полигоном уничтожения евреев всей Европы» и когда отдельные латыши участвуют в их акции («оскверняется земля, где нам оставаться веками», стр. 359), не замечены также догадки В. Вавере о возникших на почве переутомления болезнях Эглитиса и о порожденных длительным замалчиванием психических сдвигах.

То, что Эглитис ставил себя наравне с Гете и другими великими, можно понять, если помнить о его бесконечных «беседах» с ними, то есть, о чтении и перечитывании, чтобы из набросанных ими контуров выстроить идею о расширении горизонтов латышской литературы, о поднятии вертикальной планки. Новизна часто рождается в облике мании величия, крайностей; но это относится к области психологии, в то время как найденная новизна принадлежит литературе, искусству. И, думается, потому-то академик Вавере не пожалела десяти лет жизни, чтобы уяснить противоречивые поиски идей в душе Эглитиса, докопаться до самых корней. Признаюсь, книга порождает желание глубже постигнуть свойства личности Эглитиса, чтобы понять не только, когда и кто первым – Эглитис или Вирза – обратился к какому-нибудь конкретному вопросу, а гораздо больше – чтобы получить наиболее полное представление о недопонятом латышском апостоле духа, который «был нежелателен всем властям, начиная с 30-х годов прошлого века».

Страстные духовные поиски Эглитиса чаще всего связывают с периодом символизма. В. Вавере добавляет к нему интенсивное, богатое находками Тартусское время, когда для писателя становится важна мифология и он с глубоким уважением рассматривает в мифологическом разрезе работы иной раз высмеиваемого Екаба Лаутенбаха. Строго говоря, из Тарту писатель привез латышам

новый классицизм с «примесью» ницшеанства, в то время как Первая мировая война и 20 годы с новой действительностью в Латвийском государстве его полностью возвратили в объятия реализма, в поисках образов сохраняя стремление к высотам и позиции Заратустры. Тут же находим истоки его желания выяснить происхождение латышского народа, однако, без

инструментов логики исторических и научных принципов, полагаясь лишь на инспирированные народными песнями фантазии, оно приводит писателя к заблуждениям, которые позднее погружают его в болото ненависти к чужому. Читать о поисках Эглитиса конца 30-х годов и периода Второй мировой войны, о рубцах отверженности тяжело: саднит острая жалость при виде, как дух его постепенно соскальзывает в им самим презираемый физический мир и погружается в него – вспышки самокритичности оказываются слишком слабыми. Можно только восхищаться исследователем – как она в архивах проходит этой тропой вместе с ним, не утрачивая толерантности. То, что это совсем не легко, выдают некоторые ненужные повторы.

(Перевод И.Ц.)

Светлана Погодина

ШУМ ВРЕМЕНИ АЛЕКСАНДРА ЧАКА: ПОПЫТКА НОВЫХ ПЕРЕВОДОВ*

Начну с прозаических данных: в 2012 году в московском издательстве «Русский Гулливер» в рамках серии «География перевода: Балтия» был издан сборник новых русских переводов стихотворений Александра Чака «Зеркала фантазии». Шесть современных русскоязычных поэтов Латвии, обратившись к 1 и 2 томам латышского собрания сочинений Александр Чака, предложили свои переводы хорошо известных поэтических текстов любимого латышского поэта. С. Морейно (автор идеи и составитель сборника), С. Тимофеев, В. Глушенков, Р. Добровенский, А. Герасимов и Л. Азарова составляют современную литературную карту Латвии. Разные поэтические стратегии преломляются и сталкиваются в поэзии одного автора, транслируя новые опыты поэтических переводов. В 1938 году А. Чак издал сборник *Iedomu spoguļi*, – сборник переводов «Зеркала фантазии» множит и отражает интерпретации того, как может звучать Александр Чак порусски сегодня. Под обложкой – черно-белой фотографией Риги – 40 поэтических отражений чаковских текстов.

Стоит ли говорить, что поэзия Чака вся соткана из примет городского быта, ароматных деталей интерьера, густоты летнего тротуара – его тексты дышат, они полны мандельштамовским шумом времени. Этот шум города и шум жизни – разной, красивой, страшной, веселой, грязной – делает поэзию Чака столь читаемой, столь востребованной и сегодня. «Кажется, что Чак уже переведен (на русский) – если не навсегда, то надолго», – пишет в предисловии составитель сборника, поэт и переводчик Сергей Морейно. Справедливо. Но обращение к текстам Чака – не просто желание обновить переводы новым поэтическим языком, это – продолжение уже сложившейся традиции русской чакяны. И в этом аспекте и «классические» переводы Людмилы Азаровой и Роальда Добровенского, и «свежие» взгляды Сергея Тимофеева, Алексея Герасимов, Сергея Морейно и Владимира Глушенкова – вещи одного порядка, и переводы сборника «Зеркала фантазии» служат ярким тому подтверждением.

Небольшое прозаическое отступление: этот текст я не хочу писать в конвенциях строгой академической рецензии. Мне кажется, здесь важнее то ощущение, которое оставляет перевод, его послевкусие.

Поэтому просьба отрецензировать этот сборник стала для меня, в первую очередь, возможностью взять пару чаковских томиков и погрузиться в мир его поэзии, в его Ригу. А потом открыть книгу с новыми переводами – и не разочароваться. Это, пожалуй, самое главное – не разочароваться, не испортить послевкусие оригинального текста. Но, возвращаясь к обязанностям рецензента, перехожу в аналитический регистр, меняю языковой код ...

Сборник открывается стихотворением Улица Марияс (Marijas iela) из чаковского сборника „Sirds uz trotuāra” (1924/1925 гг.) в переводе С. Морейно; стихотворения значимого для латышского поэта, дополняющего картину его знаменитой городской топонимики. Поэтизируя любимый город, Чак рисует ритмичным верлибром будничные сюжеты провинциальной столицы. С. Морейно следует поэтической логике Чака, не меняя интонации оригинального текста. Таким образом, задается интенция всего сборника – принцип выбора текстов строится вокруг образа любимого города.

Выбранные для сборника стихотворения – это как широко известные читающей публике произведения, так и тексты, не публиковавшиеся при жизни автора (Вечером, Мой бульвар, Вокзал, Вчера, На улице Прудной, Тем временем и т.д.).

В поэтическом мире Чака сосуществуют отражения иных литературных систем – в первую очередь латышскому поэту близок образ, созданный (и прожитый) магистром Сорбонны и завсегдатаем парижских дешевых кабаков Франсуа Вийоном. Неслучайно, в сборнике Iedomu sproģi А. Чак помещает стихотворение Fransuā Vījonam. В сборнике Зеркала фантазии этот поэтический текст талантливо перекладывает Владимир Глушенков – стихотворение Вийону. В тексте Глушенкова совмещаются два литературных образа, два лирических героя – Вийона и самого Александра Чака. Перевод открывается строками, не существующими в оригинальном тексте:

Задвинье из районов где мнется дух вийонов
Вино пролито на столе и глаз болит осатанев

Наслаивая один топос (парижский, вийонский) на другой – рижский, чаковский, создается ощущение единства и единовременности поэтического пространства. Глушенков смело меняет стихотворный размер, отказываясь от чаковского дактилического ритма:

Mitros plauktos un dzīvokļos dārgos
Ādas sējumā elpo tu maza,
Kā ar rasu tu slacini vārgos,
Gļēviem dvēselēs saplūsti ass.

и переводя текст в цветаевский дольник, усложняя конструкцию в двух средних стихах логоэдом (анapest плюс ямб), делая задержку ударений, которой нет у Чака, и цезурой:

Хилым – вопли аплодисмента
Фолиантам – подкожный слой
Запотевшие взгляды зло
Камни схвачены душ цементом

Но, кардинально меняя ритм, Глушенков не отказывается от сущности чаковской поэзии. В переводе Глушенкова возникают важные образы, значимые для Вийона, и по наследству переданные им Александру Чаку – это камни, бульжники, мощенные городские мостовые. Та же эстетика средневекового города, впоследствии заложившая (камни) поэтической системы акмеизма (и здесь Чак вновь сближается с Мандельштамом!). В Стихах о том где я буду сегодня вечером (Dzejolis par to kur es šovakar sēdēšu из сборника Iedomu sproģi) Глушенков акцентирует эротические мотивы, присущие чаковскому произведению:

Обернись – меняя позу
Ум за разум, жадность плоти
Сердце бешено колотит
Фрейд – спасибо паровозу (...)
Агрессивного флирта лодыжки
В чресла желтую подушку
Любит плюшевая мышка

Яркая визуализация поэтического пространства приводит к понижаю текста как экфрасиса, и неслучайно здесь фигурирует имя Сигизмунда Видберга, что правомерно расширяет контекст художественного произведения, тонко улавливается Zeitgeist. Версификационный арсенал Глушенкова богат, и поэзия Чака удачно перекладывается на усложненный ритм переводчика.

Менее сложен в плане стихосложения перевод А. Герасимова Чертяка с Гиблого острова (из сборника Чака Mūžibas skārtie), но скупость

художественных средств лишь подчеркивает бытовой нарратив текста: сюжет взят из истории битвы на острове Смерти. Удачной находкой звучит русский перевод латышского Velns в русское бесшабашное чертяка (вместо дословного перевода – черт). В этой номинации остроумно закладывается игровое начало, витальность главного героя стрелка Дамбиса, которая удивительно тонко вписывается в сюжет смерти/жизни:

– У островного чертяки свое чертово счастье,
Лупит как бешеный, танцует на лезвии бритвы, –
Смеются стрелки, коченея без дела,
За известковыми глыбами укрыты от картечи.

Перевод А. Герасимова отличается именно лексическими находками – изобретая новый языковой код для известного стихотворения, он «оживляет» текст. Переводя строфу оригинального текста

Tieši tur, kur acs tam ātrā teica
Vācu strādniekus un sargus slēpņos
как
Где примечал своим рысьим взглядом
Немецких зольдатен унд официрен в схронах

автор тем самым подчеркивает ироничность/сарказм, свойственный главному герою произведения: кириллическое написание немецкого Soldaten und Ofizieren для русского читателя носит вполне осязаемые коннотации. Выбирая сниженную лексику (разнесет им все на хрен, фрицы, свихнуться, с такого ранья и т.д.), А. Герасимов удачно создает ощущение бесшабашной игры в жизнь-смерть, снижая пафос, но при этом не утрачивая чуть ли гомеровской поэтичности. «Локальная иллиада» Чака в новом переложении звучит не менее убедительно в своей детальности: и Дамбис – чертяка, напоминающий вначале стихотворения хейзинговского homo ludens, эдакого трикстера, в конце, в смерти своей оборачивается уже Чертом, лишенным ёрнического пафоса:

Это все, что осталось от Дамбиса,
От его желаний, резкой, злой работы.
Черта нет. Но вражьи надежды тщетны.

Переводы Л. Азаровой представляют, в основном, тексты, не изданные при жизни А. Чака. Тематика стихотворений повторяет интенцию всего сборника – это город в его деталях, звуках и каждодневных

словах. К примеру, стихотворение Вечером выполнено длинной «разговорной» строкой, интонационно воспроизводя ритмичный шум времени в его таком уютном, домашнем и тихом звучании:

Он ехал домой, где жена и детишки, и в кухне у теплой
плиты закуток, и дымящийся суп на столе.

Переводы Р. Добровенского сосредоточены на известных чакских произведениях – Лаковые туфли, Последнее навечерие, Поцелуй. Тематически Последнее навечерие предвосхищает стихотворение Чертяка с Гиблого острова, описывая томительные ночные часы перед решающей утренней битвой. Колкие, скупые фразы передают сосредоточенный, «сильный» ритм текста:

Так и провели стрелки всю ночь
С песней этой, в ожиданье утра,
Ночь святую перед битвою кровавой.

Перевод стихотворения В своем праве С. Тимофеева, фронтмена рижского поэтического объединения Orbita, приближается к неслучайным для Чака вийоновским интонациям – своим нескрываемом гедонизмом:

Дым прокопченный, запахи, взвизги сирен облаками черными плыли прямо из порта.
Была весна, и вечер субботы и денег хватало на пиво и девушек самых нестрогих, а потом бы сойтись в рукопашной.
Чтоб в старости в доме для бедных на скрипящей кровати над тарелкой с селедкой не охать, что молодость выдалась зряшной.

Перевод Тимофеева по настроению и рисуемому modus vivendi близок духу вийоновских баллад и завещательных поэм, особенно известной «Балладе добрых советов ведущим дурную жизнь»:

В какую б дудку ты ни дул,
Будь ты монах или игрок...
Где все, что накопить ты смог?
Все, все у девок и в тавернах!

Древняя логика *carpe diem* характерна как парижским вагантам, так и рижскому поэту, чья судьба, как и судьба Франсуа Вийона, сложилась из странствий и возвращений в любимый город.

Выходя за скобки разговора исключительно о переводах, на мой взгляд нельзя обойти вниманием столь важное качество любого издания (тем более сборника переводов!), как необходимый комментарий к текстам. Сборник снабжен лаконичными, но исчерпывающими комментариями к каждому переводу, а также послесловиями составителя. Возможно, комментариям к переводам не хватает определенной структурности: некоторые переводы достаточно подробно анализируются, приводятся примеры других известных или не очень русских переложений текстов Чака; иные же переводы комментируются скупо, отчего создается иллюзия их меньшей значимости. Кроме того, на предвзятый взгляд занудного читателя, сборнику не помешали бы комментарии/послесловия самих переводчиков (а не только предисловия к грузинскому изданию) – почему именно эти тексты были выбраны переводчиком, почему в таком стихотворном размере увидели этот текст в его русском варианте, что удалось, а что вызвало сложности или неудовлетворение переводчика. Впрочем, эти замечания носят характер совета, но не укоризны. Сборник «Зеркала фантазии» – это как новая географическая точка в литературной карте: расширяет культурный горизонт читателя (и исследователя). «Всякая разрешенная проблема немедленно выдвигает новые проблемы», – эти слова можно соотнести и с проблемой литературного перевода. Новый перевод, разрешая одну проблему, в этот же момент выдвигает новую, предлагая иные возможности переложения – и в этом заключено бессмертие слов.

Сборник переводов завершается текстом В. Глушенкова Приз Александра Чака (мотивы 2002-03), в котором отражается рецепция творчества Александра Чака в поэтическом русскоязычном пространстве:

он рычаг нежнейшей чакры
полный песен и чернил (...)

Сборник Зеркала фантазии также полон – полон отражениями чернильных чакровских строф. Эта нетолстая книга в 128 страниц, легко уместяющаяся в кармане осеннего пальто, дополняет корпус русских переводов замечательного и самобытного латышского поэта – Александра Чака.

*Первая публикация рецензии – на латышском языке в литературном издании приморских городов "Vārds" Nr.4

Аркадий Неминуций

ПО СТУПЕНЯМ ЛЕТ НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ

Размышления о том, какое название дать очерку, посвященному разговору о двух недавно вышедших в свет поэтических книгах Алексея Сергеевича Соловьева, подтолкнули к мысли о том, что лучшей версии, чем данная самим автором, пожалуй, не найти. Осталось только соединить в одну фразу заглавия его сборников, правда, поменяв их местами.

Можно с уверенностью сказать, что пейзаж латвийской поэзии на русском языке сегодня уже невозможно представить без имени Алексея Соловьева, известного не только в ставшем для него родным Даугавпилсе, но и в Латвии, а также за ее пределами. Читателями его стихотворных опытов стали уже несколько поколений самых разных людей, для которых постижение мира связано еще и с его лирической интерпретацией.

Сборники «На берегу большой реки» (2012) и «По ступеням лет» (2013) стали шестой и седьмой по счету книгами Алексея Соловьева.

Поскольку первая из названных книг готовилась автором к собственному юбилею, есть смысл хотя бы коротко напомнить об основных этапах его жизненного и творческого пути.

Родившийся в латгальской глубинке, в многодетной старообрядческой семье будущий поэт уже в детстве испытал «сладкие муки» стихотворчества, которое стало для него основным занятием и смыслом жизни независимо от того, чем приходилось зарабатывать на хлеб насущный. Благословенное долголетие Алексея Сергеевича дало ему возможность познать жизнь в самых разных ее проявлениях, включая ужасы войны, тяжелую болезнь, нелегкие труды и дни, но и счастливые мгновения.

Так сложились обстоятельства, что начиная с 1952 года, когда Алексей Соловьев стал постоянным жителем Даугавпилса (ныне он почетный гражданин), его занятия так или иначе были связаны со Словом, независимо от

того, на каких конкретных должностях пришлось трудиться: литературного сотрудника радио, журналиста или редактора газет.

Не был обделен Алексей Сергеевич и встречами с людьми, которые в разное время повлияли на его жизнь и судьбу. Так, например, свой первый собственный угол в городской коммуналке он получил благодаря хлопотам знаменитого Ильи Эренбурга, который был в то время еще и депутатом Верховного Совета от Даугавпилса. Профессиональное становление Алексея Соловьева невозможно представить без плодотворного общения с даугавпилскими коллегами по поэтическому цеху, студентами-филологами и преподавателями русистики местного педагогического института (ныне – университета).

По всей видимости, всех литераторов (и не только их, а вообще – художников) можно условно разделить на две группы: в одном случае творчество как бы совпадает с параметрами их личности, в другом – резко контрастирует. Думается, что Алексея Соловьева можно без колебаний отнести к первым. Оставшиеся за плечами долгие годы жизни и приобретенный опыт не лишили его непосредственности восприятия мира, детской свежести взгляда, неумемного любопытства, способности увидеть небанальное в банальном.

* * *

Не отучить людей писать стихи,
Особенно, когда вы сердцем юны
И нечто важное, а то и пустяки
В нем всколыхнут невидимые струны...

Центральная тема книги «На берегу большой реки» обозначена в названии и опирается на системообразующие пространственные знаки – Город и Река. Но, как и у каждого серьезного поэта, эти на первый взгляд локальные категории в каждом из составивших сборник текстов усложняются, включают в себя множество иных, связанных с разнообразными жизненными проявлениями: бытия как такового, природы, любви, памяти. Сам «город на Даугаве», как он назван в открывающем сборник стихотворении, пульсирует и видоизменяется в зависимости от душевного состояния автора. Журналистский опыт, несомненно, проявился в своеобразных «поэтических хрониках» («Львы у музея», «На церковной горке», «Улица Ятниеку»), где актуальные даугавпилские реалии быстро узнаются коренными обитателями, но тот же Даугавпилс предстает еще и как Город, некий урбанистический пейзаж и – вместилище исторической памяти.

Для Алексея Соловьева, похоже, нет тайн в сфере стихотворной техники. Он свободно и внешне без напряжения варьирует самые разные ритмы и размеры, в отдельных случаях обоснованно переходя к лирическим миниатюрам в прозе. Однако наиболее уверенно он чувствует себя в рамках классической поэтической традиции:

Базовый городской топос постепенно расширяется в сборнике по принципам концентрических кругов и включает пределы расположенной на берегах реки Латгалии, а также мест, узанных в ходе реальных или духовных странствий («Лиепукалнс», «На Куршской косе», «Кижы», «Во Пскове», «Вставало солнце в Пушкинских Горах»).

Многие из этих дум и чувств обнаруживают себя и во второй поэтической книге – «По ступеням лет». Надо отметить, что, если в сборнике «На берегу большой реки» условной доминантой является категория пространства, то в последнем по времени опыте Алексея Соловьева организующим центром становится идея Времени. Хотя понятия времени и пространства автор не разделяет непроходимой границей, поскольку, как хорошо известно, в реальности они существуют в неразрывном единстве.

Композиция сборника «По ступеням лет» строится как ретроспекция, очередное путешествие автора по просторам памяти, начиная с детства, что закрепляется и названиями отдельных микроциклов внутри книги: «Детство в памяти не вянет...», «Где я зрелость обретал», «Один человек не бывает», «Двуликий век».

В этом экскурсе проявляется вся неповторимость личности поэта, особенность его пути, специфика отношений с людьми и миром вообще. Несомненной удачей можно считать, например, такие стихотворения как «Школа отрывных календарей», где соединяется биографический принцип и демонстрация уникальной способности поэтического духа странствовать в «параллельных» мирах.

Сборник «На берегу большой реки» автор завершил философски пессимистическим стихотворением «Когда мы умираем». Книга «По ступеням лет» заключается лирическим очерком «Мосты», и в этом можно увидеть иное настроение. Мост никогда не может вести в тупик, он всегда знак перехода, перемещения как минимум на другой берег непрерывно бегущей реки, в другое пространство.

Анна Иванова

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Со второй половины 2012 до середины 2013 года новых книг появилось немало; особенно богат этот период стихотворными сборниками – авторскими, а также разного рода общими изданиями, альманахами.

Три сборника стихов – билингвальные, на русском и латышском языках. Уверенности в том, что одновременно с русским читателем со всеми произведениями каждой из этих книжек необходимо было познакомить и латышского, нет. Обычно на другой язык переводится наиболее значительное, уже после некоторого отбора, проверки временем. Все три книги удостоились внимания СМИ. *По частоте упоминания пальма первенства принадлежит сборнику Сергея Тимофеева „Stereo”*. В греческом языке stereos означает – объемный, пространственный. Stereo как самостоятельное слово в словарях обнаружить не удалось, там оно дается вместе с какой-нибудь второй частью сложного слова. Не лукавит ли, не развлекается ли автор, предлагая читателю самому догадаться, что он подразумевает? Может быть, «стереохромию»? – это рисунки на стенах красками, смешанными с растворимым стеклом.

Стихи Тимофеева поминает Сергей Морейно в статье «Шамшад – двойной полдень», опубликованной в «Дружбе народов» (2013, №5) под рубрикой «Поэт о поэте»: «Тарковский все же покруче Бивиса и Баттхеда, а уж они, в свою очередь, плавно делают Никиту Сергеевича (Как V&V отменяет Микиту, так Шамшад Абдуллаев не то, чтобы отменяет, но затеняет худшее в Сергее Тимофееве, спасая его от него же)». Не совсем понятно, зато – интересно.

По форме произведения С. Тимофеева – стихо-проза; решающая роль в их построении отводится по большей части ритму. В стихо-прозе уравновешенно и спокойно о чем-нибудь рассказывается – о событиях, людях, иной раз – и о переживаниях.

еще раз попытаюсь понять
что ты мне всем этим хотела сообщить

Это уже из третьего, по хронологии выхода в свет, билингвального сборника: «Стихотворные посвящения Артура Пунте». Цитирование – нейтральное, ничуть не имеющее целью как-нибудь уязвить автора.

Подобный вопрос – что он хотел сказать? – задается гениальным Александром Чаком в одном из его стихотворений, а потом этот же вопрос обыгрывает и Ояр Вацетис, отвечая, что – то, что сказал. Правда, прочитав «Посвящения» Пунте, и на самом деле кажется: надо еще раз попытаться понять, что такое там так тяжело ворочается в этом неуютном мире, куда возвращаться еще раз... не хочется. Так же, как и в иные другие миры современной поэзии.

Поэтика безобразного? Нет, это определение не годится. Может быть, подобные миры и есть «тексты», где их adeptам иногда достаточно того, что про сообщение не очень понятно – зачем оно? Тут, видимо, следует оценить неугомонность авторов в деле организации культурного поля в нашей «цивилизации машиноводов».

В хронологически предпоследней билингвальной книге – это *«Вижу слышу молчу» Жоржа Уаллика*, – при всех экспериментаторских завихрениях нередки точки соединения – как бы скрещивания – сиюминутного с вечным. И это обеспечивает высоту вертикальной планки.

После своих давних первых опытов Ж. Уаллик уже сделал шаг навстречу читателю (или себе? своей поэтике?) – стал пользоваться знаками препинания. Кроме «я» появляется и местоимение «ты». И сами его эксперименты, похоже, – вполне самостоятельны, хотя иной знаток соотносит их с футуризмом начала 20 века (В. Хлебников, А. Крученых).

Хронологически последняя среди билингвальных книг – *«Вплавь» Семена Ханина*. Поэта, несколько лет назад издавшего сборник «только что», чем-то пленивший читателей.

В новом сборнике Ханин в поисках пути избрал путь к сложности, даже – к нарочитой усложненности. Она проявляется в неясной порою связи слов в предложениях, предложений – в поэтической фразе, в общей картине стихотворения. Эту неясность, создается впечатление, призваны еще подчеркнуть (преодолеть?) графически изображенные, то смутные, то будто бы смазанные силуэты стихотворений на страницах 12, 21, 26, 43, 54, 59, 66 и 70.

Путем от простоты к сложности идут многие поэты, чтобы потом возвратиться к простоте, но уже совсем другого порядка. Не этот ли путь бессознательно избрал Ханин?

Анна Аузиня свою рецензию на этот билингвальный сборник

назвала «Читать два раза» („Latvju Teksti” Nr. 5, 2013, стр. 48). Однако, не слишком ли велик удельный вес – для сравнительно небольшой книги (47 поэтических текстов) – стихотворений, где не помогает ни второе, ни даже третье прочтение? Кажется, что не только ты, читатель, дойдя до конца текста, забываешь, о чем было в начале, но и сам автор этого уже не помнит. Что-то было – как иной раз во сне – бежали строки, всё было ясно и понятно, но в момент пробуждения – всё исчезло.

Графические силуэты – затем, чтобы помочь читателю дообразить?

Название сборника – «Вплавь» – скорее всего от глагола «плыть», так оно и переведено на латышский: „Peldus”. Но возникает странное предположение, что это и повелительная форма от «вплавлять», воображается, что автор велит читателю самому вплавить нечто очень существенное, – как драгоценный камень в украшение. Или, может быть, как камень для утяжеления удара, – в какое-нибудь оружие. «Вплавь!» – как и что захочешь.

Верно: восприятию иного стихотворения если не второе, то третье прочтение полезно, – заглушенное чувство приоткрывается. «Однако, в сравнении с многими стихотворениями «только что» / tikko», которые свидетельствуют о мастерстве автора в области формы, здесь тексты гораздо более неровные, полны разрывов и побочных линий, возникающих не по неумелости автора, скорее их следует считать поиском», – пишет в своей рецензии А. Аузиня.

Обыкновенно приверженность поэта поиску приветствуется и критикой, и собратями по перу – как подтверждение неугомонного духа. Всё же хочется спросить: а что он потерял? где? почему?

«...толкователь, однако, не оставит нас в непонятках...» (стр. 30).

В сборнике есть точные строки, абзацы, есть, наконец, и несколько стихотворений, где прорывается, хочется сказать – пробивается, вопреки воле автора, – как писали когда-то, драма человеческой души.

Остальные книги, о которых пойдет речь, насколько удалось проследить, в средствах массовой информации (бумажных) не упоминаются.

Ветерок занавеску топорщит.

Пусть меж нами стоит тишина.

Тишина золотая такая!

Уходящего времени дым.

Эти строки – из стихотворения Юрия Касяничя «Вариации» в его сборнике «Пейзаж после исповеди» (2012). «Это своего рода творческий отчет за последние 25 лет», – сообщается в аннотации.

Если поэтов вообще было бы допустимо сравнивать, то лирика Ю. Касяничя оказалась бы в одном ряду с творческими опытами М. Макаровой, С. Пичугина. Многие из подобных стихов могли бы органично вписаться как в общую картину русской поэзии конца 19 – начала 20 века, так и в новую струю 60-х годов прошлого века. Иные литературоведы усматривают в развитии литературы волнообразную смену жанров. Если это так, то такую – «старомодную» сегодня – стилистику можно рассматривать и как составную часть «набегания» или «наступления» поэзии, ее попытки вновь потеснить стихо-прозу, возратить утраченную мелодическую структуру, строгие рифмы и т. п. – всё, что считалось необходимыми признаками поэзии.

Старомодность может оказаться традиционно-прелестной, но может быть и архаичной. Однако и формальное соблюдение стиля «после-постмодерна» само по себе тоже еще не обеспечивает обновления поэтики.

Слово – за читателем.

«Притяжение земли» – пятый сборник стихов Руты Марьяш; «...возможно – последний. Возраст берет своё», – как сообщает в кратеньком вступлении автор. Значительная часть стихов видится как мелодически оформленный поток благодарности за дарованный мир. Но не только благодарности, но и печали от близости разлуки:

«Не соизмерив с явью бег / Отгрохотал вагон свой век. / Сцеплений лязг – прощанья миг... /... Стоит отцепленный вагон, / Из глаз ослепнувших окон / Мигнет былого светлячок, / Звон подстаканников – чаёк...

... Но и мудрости открытий на пути философского осмысления пережитого.

В сборник включены также переводы Р. Марьяш с латышского – несколько стихотворений Аспазии; параллельно даются оригиналы. Эти переводы смело можно отнести к рижской школе перевода, созданной русскими поэтами Риги в 60-е годы прошлого века на основе знания латышского языка, глубокого понимания истории и культуры Латвии,

пластов поэтического творчества. «Пусть станет стих твоим, хоть создан не тобою... / Так трудится упрямый переводчик, / В узде держа ладью меж дальних берегов, / Пороги одолев, ликует переводчик, / Скрепляя узы душ и языков», – эти строки – из стихотворения «Переводчик», которое замыкает страницы оригинальной поэзии и таким образом становится мостком, переброшенным к разделу «Переводы с латышского».

К Дням русской культуры в Латвии вышло несколько общих сборников. В альманахе «Письмена» стоит первым делом заглянуть в раздел «Крестики и нолики»; там на стр 250 – викторина «Рижские памятники», где весело и непринужденно – в форме стихов-загадок – налету происходит знакомство с частью истории и культуры Риги. Полезное не только школьникам, студентам, но и людям старшего возраста... Автор лёгких, лежащихся на память четверостиший – Эмма Секундо.

«Стихи – зачастую печаль, но все-таки русское слово находит свой верный / причал и к нам возвращается снова», – так, поэтическим двустрочием, завершает своё предисловие к «Письменам» составитель сборника Юрий Касянич. Настроившись на литературоведческую волну, не сразу замечаешь, что и другие – последние? – строфы здесь – стихотворение в прозе. Или – образец «прозаизированного» стихотворения. «Да, Поэзия – странное дело» (Ю. Касянич).

Альманах «Письмена – 2013», как и в прошлую весну, разнообразен; в нем представлено 9 поэтических объединений; 64 автора – как россияне (петербуржцы), так и поэты, живущие в рассеянии: в европейских «старых» и в отделившихся от России после распада СССР «новых» странах.

Планка – то выше, то ниже.

«Рига стала не просто главным городом Латвии, а еще и мировой столицей, потому что здесь состоялся всемирный конкурс «Кубок мира русской поэзии», в котором приняли участие многие поэты из стран Европы, Азии и Америки, пишущие на русском языке», – пишет редактор Санкт-Петербургского литературно-художественного журнала «Северная Аврора» Евгений Лукин, предваряя публикации лучших стихов конкурса. Специальный выпуск этого издания (№ 19'2013) нас интересует, потому что в нем присутствует сильный латышский акцент (таково было название изданной в 1974 году книги

стихов рижского поэта Л. Азаровой, 1935 – 2012). Среди авторов – немало русских поэтов и писателей Латвии, а также стихов разных других авторов, посвященных Риге, Юрмале. В разделе «Новые переводы» публикуются стихи одной из лучших латышских поэтесс Аманды Айзпуриете (1956), прекрасно переданные по-русски рижским поэтом и переводчиком Миленой Макаровой.

«... она видела в каждом человека и его боль, а не друга и врага», – рассказывает о своей матери с 1980 года живущая в Германии Лидия Друскина – вдова известного ленинградского поэта Льва Друскина (1921 – 1990) – в своих записках, которые также опубликованы в «Северной Авроре».

когда на «ау!» я уже ничего не отвечу
(не вечен боец и у каждого свой аустерлиц)
не стоит окно закрывать – утро выступит певчим
а между сраженьями принято пестовать птиц

сокроется в облаке образ скворчонка в скворешне
и чувства нащупают счастье в среде облаков
и частью тебя станет вечность и наимудрейший
прильнет неразумным причастием к слову любовь

стыкуются дни между ними зазор незаметен
и прочен забор за которым ничто не узреть
и вот выползает на свет отрицание смерти
вполне обязательной рифмой к понятию смерть
Евгений Орлов. Из цикла «Начертательная география».

«Северная Аврора». 19' 2013.

Рижский поэт, организатор уже 2-го Чемпионата Балтии по русской поэзии, а также конкурса «Кубок мира русской поэзии», Евгений Орлов составил и снабдил предисловием сборник стихов лауреатов «1-го открытого чемпионата Балтии по русской поэзии – 2012». Эта книга – хорошее избранное современной русской поэзии. «... сами по себе слова никогда не становятся поэзией. Нужен – Великий Читатель», которому «всегда мало того, что уже есть», которому «трудно найти... хитрое зернышко поэзии», – говорит Евгений Орлов в предисловии. Он помогает найти зернышко; поэтому можно смело утверждать, что у него есть Божий дар не только поэта, но и собирателя и хранителя

литературы, страстно озабоченного ее развитием и постоянным обновлением.

В заключение – несколько абзацев о хорошо изданном, хоть и в не слишком дорогой – мягкой – обложке, альбоме Георгия Зерницкого (Baltik Internacional Academy, Rīga, 2012).

Г. Зерницкий родился в 1938 году, в Мордовии. Живописец. С 1962 года живет в Риге.

Это «один из тех художников, которые образуют мозаику облика искусства в его подлинном статусе. – Читаем на одной из последних страниц альбома. – Когда смотришь на его картины, невольно чувствуешь себя оказавшимся в окружении семейства эльфов, которые в силу какого-то недоразумения появились в нашем пространстве. Или мы сами перестали, вследствие мутации, быть эльфами, ангелами и потому лишь смутно ощущаем свое сходство с ними. Иногда его картины по своему контрасту с реальностью напоминают об ужасном жребии жребии людей жить в бездушном мире. Или о самочувствии «кузнечиков» (так Георгий Зерницкий называет своих персонажей) в кафкинском мире бесчувствия, уныния и обыденности; или грезы Элзюперы о детстве».

Автор этого наблюдения – Павел Тюрин, с которым читатели нашего альманаха уже знакомы.

В декабре 2013 года, когда 4-й номер альманаха уже сдавался в производство, вышла из печати книга Валентины Поповой «Калейдоскоп встреч». «Первый опыт пера», как в скобках указывается на титульном листе под названием. Сюда вошли два документальных рассказа: об истории рояля, нашедшего пристанище в библиотеке Латвийского общества русской культуры, – с благословения основателя этого общества Ю.И. Абызова, кому и посвящается воспоминание; и – встречах с А.П. Астровым, который «жил в Риге» и был «удивительный человек – актер, поэт, философ, учитель».

Во втором разделе – художественные рассказы, где одновременно с образом прежней Риги находим и ее сегодняшние черты.

Инара Озерская, Владимир Новиков

ЧЕЛОВЕК В РАМЕ



Павил Карлович Шенхоф – знаменитый деятель театра, кавалер ордена Трех Звезд – сценограф, режиссер, сценарист. Работал в ведущих рижских драматических театрах, более сорока лет был главным художником Латвийского театра кукол, проиллюстрировал множество книг, создал философские живописные работы, галерею портретов латышских театральных деятелей.

Авторы статьи попытались понять его, как художника.

Мы предлагаем зарисовки из интервью с Павилом Шенхофом: его слова, его размышления о живописи, людях, самом себе...

Как миниатюры.

А любой из читателей способен понять их на свой вкус.

Первой зарисовкой станет окончание Академии художеств.

Шенхоф рассказывал:

«Сорок лет я и не думал заниматься живописью. Так уж получилось. Моя дипломная работа в Академии называлась «Комсомольская стройка железнодорожного моста через Даугаву». Ох, и намучился я

тогда! Прихожу рисовать, а охрана меня к мосту и близко не подпускает. Того и гляди, арестует и сдаст в милицию как шпиона. Пришлось ударную стройку выдумывать! Защитил я в 1952-м году диплом – и положил краски и кисти «в стол». Снова живописью я занялся после восстановления независимости Латвии...

«Прекрасно живописать то, что хочешь, и так, как видишь».

О своем цикле работ, посвященных Александру Чаку, он сказал:

«Я очень люблю Старую Ригу. Город у меня на холстах разный – на рассвете, днем, вечером. А поэта Александра Чака невозможно написать отдельно от Риги, от ее кабачков, улочек, фонарей. Так и получился целый цикл: «Рига Александра Чака».

«За каждой картиной стоят определенные мысли. Допустим, вот – белый клоун, паяц, шут в белой раме. Мир разнообразен, но каждый из нас танцует, каждый из нас должен танцевать. И судьба выстраивает вокруг нас белую раму. И за эту раму мы никогда наружу не выходим. Эту границу не пересекаем».

«Или – белый клоун с куклой. Мы создаем какие-то идеальные представления, которые не соответствуют реальности. И этот белый паяц обожествляет существо, а это всего лишь кукла, механическая кукла. Мы создаем какие-то идеалы и не замечаем, что их и нет вовсе. Так же как этот паяц».

«Я побывал однажды в Париже, когда вернулся, написал картину... Я бродил по Монмартру и видел, что ни одного художника-француза там нет! Там сидят и рисуют японцы и русские. Так что старый Монмартр, который существовал во времена импрессионизма, давно умер. Вот это я и изобразил: японец, какой-то апаш, дама легкого поведения на Монмартре. Только вдаль – дух Тулуза Лотрека еще пытается набросать сегодняшний Монмартр».

«У меня несколько десятков портретов своих друзей и коллег – актеров, режиссеров, с которыми я работал в театре Дайлес, в Национальном театре. А здесь выставлены только пять».

Я сказала, что вижу всего четыре портрета, полагала, что крайняя картина – из цикла кукол.

Художник шагнул вперед, пересчитал и с насмешкой заметил, что человек рядом с детской каруселью – режиссер Алвис Херманис. Шенхоф знает, что воззрения его героя способны неожиданно перевернуться в свою противоположность.



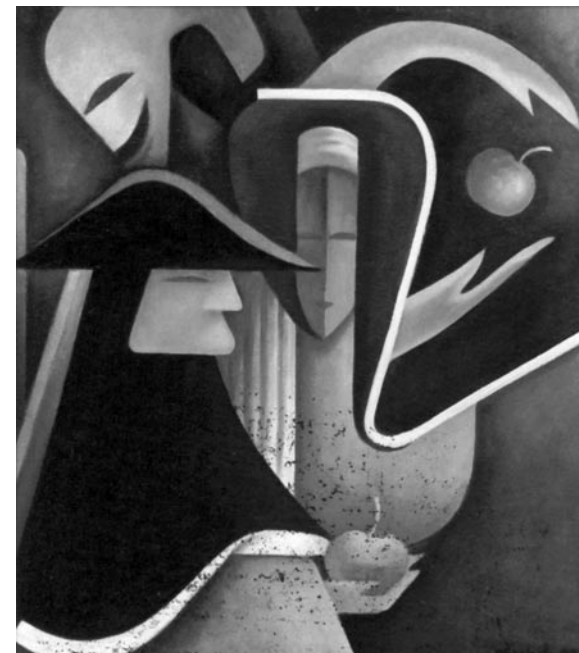
«Он всегда ищет и находит что-то новое. Даже его идеалы – могут оказаться шаткими. Потому я изобразил его с креслом, у которого всего три ноги. Четвертая вроде должна быть... но обломана».

«Чаще всего – человек таков, каким уродился, со своими достоинствами и недостатками он шествует по жизни. Потому все мы оказываемся в своих рамках. И за пределы собственных ограничений нам не выйти».

Но и Чак, и Рига его времен, и Лотрек на картине Шенхофа – и сам Шенхоф в конечном счете продолжают свое путешествие в пестром мире.

Похоже на странствие образов и размышлений.

Будь то интервью Новикова и мое, будь то...



ИЗ ЛИРИКИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

* * *

Лист покружился и упал...
И следующий – так же точно.
А тот – в шиповнике застрял.
(На землю-то, видать, не срочно!)

Ещё зависну на ветру,
В крылатки превратив предплечья...
Не кончен спор с упрямой речью,
Бог даст минуту – не совру!

1.10.08.

* * *

Почти что сельская дорога
В листву укрылась с головою.
И небо светится немного,
Звезду наметив над собою.

Но фонари пока заметней –
(Подсвечен купол рукотворно!)
...А шарик вертится проворно,
И дышит север ночью летней.

16.05.07.

* * *

Перед глазами – ствол и шишка,
Зачем-то рухнувшая вниз...
И кажется, что знаешь – слишком,
И от себя уж не спастись...

И как же просто мир устроен, –
Где созревает семя в срок,
И мой обидчивый сынок –
Коль выспался – так и спокоен...

...Но кто-то дух привёл в движенье, –
Чтоб про покой навек забыть –
Играть, и петь, и волком выть...
Ужели в этом назначенье?

26.08.99.

ДОРОЖНЫЕ ЭТЮДЫ

1

Под перестук колёс на стыках рельс,
в предчувствии волшебного крыла,
прекрасный повод – лечь,
закрывать глаза и слушать.
Рефрен – “ Печаль моя светла...”
В купе томятся души.
Ах, суета сует вокруг,
и взгляд в себя не нов,
как в сумрачном лесу
в сутробах мало снега.
Намаявшись в пути,
уже не хочешь снов,
остановить бы бег,
да поезд – не телега.
Дорога (вся) – в пути,
всё дальше и всё ближе.
Но дальше от “куда”
и ближе до “откуда”.
“Что, Фаберже в Москве,
а Дягилев в Париже?» –
лениво говорят...
“А где живёт Иуда?”

4

Казалось, весь мир отказался от Крыма
во имя России.
Малороссы упрямо не ехали к морю
и не хотели омыть свои бранные ноги босые
слезою мускатной лозы, мы же – омоем.
В Херсоне тогда бастовали евреи,
(а может быть, негры),
поэтому поезд пустили в объезд,
туда, где старинная Хортица не стареет,
и где осыпается каменный ДнепроГЭС.

Разливанное море Днепровское
душу хрустально таранит,
по берегам коего – выставка сказочных деревень,
или это весь цвет хуторов близ Диканьки?
Конечно, Диканька, где явор и гай, и курЕнь.

А время – экранно! И степь, и сады, и пороги –
всю статью Украины, или лучше сказать, Украины
я завещаю сыну!

5

А над всем этим чудом чудится в мареве Гоголь.
Чубатый, расхристанный – парубок аховый!
И всё же знакомый – чиновный, убогий,
в шинели, которую снять не успели,
чтобы продать за подушечку “Орбит” без сахара.
...Гоголь вошёл к нам да так и остался в купе,
и плакал, снимая с соседа свои сапоги перед сном,
кои прилично устроить под голову!
Это по-русски вполне и по-украински тоже.
Ну, а чужим понимать ни к чему и негоже.

6

И вот – Сиваш! А нам пилить до Ялты.
Никак не кончится желдор,
мне надоели игры в карты,
хочу немедленно в Мисхор!
Там в море плещется “Русалка”,
к Ай-Петри мчит фуникулёр.
Мы прозевали?! Ах, как жалко,
ведь души рвутся на простор.
... Не знала я о пересадке,
и сразу, выйдя на перрон,
спросила, где тут “Мухалатка”,
где Старый Крым и Ланжерон,
где Коктебель, где, как их, Сочи,
Волошин, Чехов, Пушкин, Грин?

Даёшь мне пляж и море, срочно!
 Не то уеду в Ригу, блин...
 Ах, долог путь к Бахчисараю!
 (Гора Костель или Костыль!)
 К “Фонтану слёз” мы подгребаем,
 но где же Пушкин?.. След простыл.
 Он здесь чужой... Завяли розы,
 Зарема плачет под чадрой,

нет ни Поэзии, ни прозы –
 есть только прах и пыль, и зной.
 И стало мне в Бахчисарае
 не по себе, пора – в Гурзуф.
 И тут – всё то же, те же раны,
 “светильник разума” потух...
 Уже не хочется ни Ялты,
 ни Воронцовского дворца...

Выходит, не одни прибалты
 забыли русского Певца.

Забыли?...Нет! виновны сети
 «демократической» весны.
 Народы малые, как дети,
 им только фантики важны.

1994, 2007, 2013 г.г.

Кирпичная стена, пролом...

Кирпичная стена, пролом... Зияет пустота.
 Вхожу как в дом – туннель чернее ночи,
 и света нет в конце тунеля... Впрочем,
 конца здесь тоже нет...
 В зеркальной сфере двое – ты и я.
 Хочу бежать – путь замурован в камень.
 Случайный взгляд на сущность бытия

во мне рождает боль непониманья.
 И как понять, и вспомнить, если дым
 застил проем – ошиблась с Изначалья,
 напрасно я бежала из Орды,
 рабою быть – других не опечалить.
 ...а я живу, как будто вмерзла в лед,
 вода ушла, засох на дне шиповник,
 но страшный голос надо мною: “Вспомни!”
 И я ищу в себе веков минувших след,
 как будто жду Всевышнего ответ.

2011-2013 г.г.

Отыщу твой бревенчатый дом

Отыщу твой бревенчатый дом
 на краю подмосковной деревни.
 Ты же встретишь меня, а потом
 будет ночь моего прегрешенья.
 Долго буду стоять у крыльца,
 буду ждать твоего возвращенья...
 На могиле твоей – два лица,
 это ты и твоё воскрешенье.
 ...Задохнулась я чёрной тоской
 и решила уехать от мужа,
 чтоб к тебе прикоснуться рукой,
 понимаешь: никто мне не нужен...
 Обманули и сны, и любовь,
 после смерти наш путь бесконечен...
 Здесь безжизненно стынет твой кров,
 без надежды на скорую встречу.
 Ты ошибся, и я не права,
 кто-то свыше послал нам проклятье.
 Что бы я ни сказала, слова
 будут просто звучать как слова,
 и бесчувственно, и без понятия.

2013 г.

Коты сидят на солнцепеке

Коты сидят на солнцепёке,
разлуку чувствуют нутром...
Осенний день под караоке
уже простился с октябрём.

Пока что листья на деревьях
пылают летней желтизной.
Но очень скоро будет время,
когда встречаются с зимой.

Мурлычет ласковая кошка:
“Резвись, сынок, пока взашей
нас не погнали из окошка
в сырой подвал ловить мышей...”
Драчливый старый кот привык
к невгодам хмурых зимних дней,
когда осенней неге встык
подует злобный зимовей.

Он всё отведал в детстве раннем:
осенний дым и летний зной,
теперь ни криком злым, ни камнем
не устрашат его покой.

2013 г.

Моя Парсла *

Встречала волны и считала...
Был бант в косичках голубой,
и небо в море – голубое...
А у разбитого причала
у ног моих судьба стучала,
когда накатывал прибой...
Каким-то странным ожиданьем
душа моя переполнялась,
и ликовал морской простор...
И близким чудилось свиданье,
мечтою дали приближались,
зазывно подпевал мотор...
Рыбацкий сейнер удалялся,
а мне казалось – плыл ко мне!
И юный шкипер на корме,
меня заметив, улыбался,
круги рисуя на волне.
Круги к ногам моим бежали,
их ветер гнал или прибой?..
Тревожно мысли затихали,
как будто волны мне шептали:
“Твой шкипер не придёт домой.”
Домой, домой! Ах, эта “Парсла”
навек скрывается не могла...
А в детстве всё казалось фарсом,
как в ясный день – ночная мгла.
Ты в памяти моей остался...
И ничего не говоря,
на рижской отмели качался
сожжённый корпус корабля.
Я с морем больше не играю,
у каждого – свои дела...
И что бы ни было, я знаю,
что без тебя с тобой была.

*Парсла – снежинка (пер. с лат.яз.)

2013 г.

Инара Озерская

ДОМ

Пейзаж дождя

Дождь растворил солнце
и вышел гулять в город,
звеня золотой кровью,
сбивая с ворот подковы.
Он будет ужинать в стойле
сырым овсом и соломой.
И лошадь его примет,
как жеребца молодого.

Пейзаж бессонницы

Костяная облатка ночи
стучит в водостоке,
и белеет накипь на небе,
и густеет на дне осень.
И распрялена сеть взгляда
на пружинных ножах кровати...
Если слушать стальной клекот,
то часы остановятся сами.

*

Вернуться на шестнадцать лет назад
и собирать каштаны под дубами,
и окунаться в листопад,
в котором кто-то ходит в такт
с моим дыханьем,
и сводит счета...
с брехней собачьей – невпопад.

*

День – теневой волчок в пыли,
зыбучие ладони, лица.
И память долгая ветвится,
как шепот и чужие сны.

Не дотянуться до звонка...
И не уйти,
и не уходишь.

За дверью...
Дождь,
цветет вода,
старик наигрывает осень.

*

Земля тасует карты под ногами,
осенние шуты уходят в сон,
палят костры
и память расстилают
дырявым дымом по ветру.

Болит... придонный город,
говорок проталин,
не встретишь:
ни оживших, ни живых.
Потерянное время задержалось
и дышит медленно...

*

Земля темнит...
 Сгущается ночами,
 качнется – стелет небо под бока.
 Скользят и оплавляются каштаны
 тяжелым воском
 и наверняка –
 завалят.

*

Расколот лик луны на тьму и осень,
 и изморозь ползет густой травой.

Наш разговор – не начат, но отложен.

Слова роятся поздним комарьем:
 пусть листопад... пусть лесть...
 пусть ветер в небе...
 Два человека бредят на рассвете.

Два человека бредят на рассвете,
 когда все ложь,
 а смерть – не дольше сна,
 когда и спишь и говоришь об этом.

...как снегом оперенные слова...

Ингмара Балоде

ПОСЛЕ ПОТОПА

* * *

Как хорошо, что ты дома, я решила. У меня здесь покой, и чувство такое, как прежде, когда и в самом деле семнадцать, а глядя на лица друзей, видишь лишь проносящиеся мимо шоссе. Текут дороги, текут их белые метки и ночи с рассветами, что еще не случились, текут беседы, но так ничего и не сказано, и братец рядом. Младший брат, он видит, как ты смеешься, куришь, как ждешь первых почек, плачешь. Кому известно, что запахи булочной в четыре утра – это бантики, и ты их успеешь разглядеть, пока не проснулся свет? Потом сможешь носить целый день.

Не знаю, хранят ли плечи легкий запах. Знания – это россыпь лампочек на учебном пульте физического кабинета. Надпись во всю стену: думай! – но все, что ты можешь – любить. Слово, которое ты спрячешь в записку на все грядущие годы, чтобы лишь изредка восклицать: да, и мое сердце «тяжело, будто внушительная попа дамасской леди». Пока же у тебя один лишь Хикмет, птицы и легкие губы. Мне нравится, как ты пахнешь ветром. Дрова приносишь. Приносишь дерево, чтобы согреться.

Приласкай меня за все вечера, за горькие рельсы и лесные тропы. Твои руки – птицы, я сама – Нильс Хольгерсон, вечно хочу так лететь.

ГЕОМЕТРИЯ

я все еще была в пути, а пальцы сумерек уже обрывали хрупкие олеандры и прочую красу за оградой, где вне ботанического присмотра пахла крапива сквозь кованое железо.

я все еще была в пути, но ту девочку, что вылезла из черной машины, уже ждала бабушка перед домом – или мама, одно окно освещено, какая грусть, платочек в кармане голубого халата, в другом – ключи, вижу, рука прижимается к телу.

я все еще была в пути, и кто-то окликнул друга за садовой калиткой, кто-то сосчитал за морем звезды, кто-то за горами повернулся с боку на бок, а я все прикидывала, как лучше перевести его стихотворение «четыреугольник»: коробка не коробка, створ не створ, знаю, что не куб.

звонок ожил на руле.

я в пути, а мое Одиноково спит, ан нет, сосед гуляет с собакой.

обычно не здороваемся, но тут нашлась улыбка для той, что, считая точки на карте августа, осваивается с дорогой

УЛИЦА

весной этот угол казался светлее
ты проходил мимо и был виден до последней секунды
с новым лицом схваченным внезапной нежностью
теперь
улица обернулась к нам спиной
укрылась жесткими листьями

ты поворачиваешь
прозрачнее свистка из стручка акации ранящей губы
и исчезаешь
в июльской тьме с неожиданно ноябрьскими руками

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА ЗЕМЛЕЙ

concordia res parvae crescunt

будь я землей
ты был бы моим посланцем

вставал бы с морем

дул бы ветром в кафе читал бы

неприкаянные любят неприкаянных
смотри птица

неся невербальную весть летит
и

вот уже пыль на страницах
ты вспоминал бы в пути
колонн стройность
витиеватость пальм
отсылал бы домой
виденные в снежных падах
давно минувшие сани

в каменных руках ожиданий
в высоком доме
преображая пяди
виденной тобой глади

говорят мы умеем различать
в ста каплях воздуха триста разных оттенков

мерцающих

вообрази

ЭТО МОЕ МЕСТО

* * *

такая черная жажда и тоска по тебе, жизнь
чуждая зеленая источающая
милосердие словно мятная
поросль перед непорочным
зачатием если
хочешь например эту красоту
видеть вечно знаю вряд ли сможешь
столь истово столь искренне
отдаться всему что здесь есть искрится
песне жаворонка высоко в небе близкой
близкой к Господнему светилу низкой
ниве что тянется до самой опушки леса с
ниткой тропинки уводящей ко сну
как ко сну не пойму как странно
неправильно случившееся из раны
вытекшая жизнь какая жирная
черта крика прочерчена какое
мертвое пространство к черту
а я-то я-то я как пунктирная линия
в русле тропинки по гравию
в топографии ям и канав непонятно
Боже как непонятно к чему
относится рваное это дыханье что там
пышет чем истекает

и что вообще понимается под
жаркой желтизной августовского солнца

* * *

время. стоит ли горевать о таких
как мы. да еще изо дня в день. да, темнеет
земля эта в гуще облаков

и смерть с гусеницами вместо подков
вспахивает поле. кто знает, что посеет?
густой маслянистый дерн. фиолетовая борозда
дышит влажной глиной то, что раньше было бельмом
на глазу звезды. да

больше горевать не стоит
лес растет как новый к холодам
тулупчик для зверья. распластанное поле
шлет звезде далекой дыма клочья

только смерти симметричный в лужах отблеск
когда трактор едет восвояси когда ночь –

* * *

тысячу раз оживает в памяти один и
тот же голос – то сухо шуршащий камышом у пруда
то глухо ревуший в печи нечто красное

пылен воспоминаний изношенный штампель
и комната впала в зимнюю спячку. одни лишь
мыши по-прежнему прогрызают лаз в шкафу где
выпустят добравшись до теплой зимней одежды
в свет первый помет этого года. солнце тлеет
на горизонте как в прошлый раз. тогда я влез
на чердак и смотрел вниз на сад. в котором
стояло несколько театрально обнаженных
деревьев и...

дальше не помню
разве что голос что
шел от темных стропил

и пах хорошо просушенной
мятой забытой нами под выстуженным
гнездом шершней

* * *

лета яркая точка к памяти слишком близко
трясу головой – и точка: город – пекло для искр

вот соловей в розетку включился в кустах акаций
хожу по краю света. знаю. чего трепыхаться

достанусь твоему уху. траве кузнечиков полной
останусь. пускай во мне уж. вспыхивают и тонут

* * *

это мое место. мне тут славно
и я буду жить тут. правда-правда
что бы мне искать другого быта

не описанного не избытого
так и так на месте этот свет
этим утром чуть
меняет цвет

громкое ворчанье в спину
корабли ушли на глубину
знаю знаю. вдруг не потяну

вдруг притихну и усну
на твоей руке: земля

растопи-ка осень. не тужи
в небе свет и в небе снег
скажи так красиво

я тут буду жить

ЗАБЫТЫЙ ЯЗЫК

«Бред какой-то... На море штормит. Сегодня с утра заштормило. Надо бы зябким, острым ветрам до ноября подождать. А они сорвались, хлынули на июль. Рано. Слишком рано. Летние вечера длинные, легкие, а сегодня... свинцовые облака ночь к земле придавили!» – смуглая женщина в черном плаще раздражена. Петляет по хлипкой тропинке. От фонаря до фонаря и снова: от росчерков, бликов на мокрой траве, до отсветов маяков у порта и желтых глаз кондитерской по пути.

«Нет. Лучше сегодня без кондитерской. Обойдусь. Перепуталось, смешалось все. Даже у ветра невнятный язык! Ни понять, ни разобрать не могу. Лучше сегодня без загибов дойти куда повезет», – Эмма хмурится. Черные волосы волнами мечутся на голове. Идет впотьмах...

«Никуда!»

И словно бы ниоткуда.

«Слишком рано штормит. Всё здесь – слишком рано».

Да. Случилось в июле: женщина в промозглом сумраке у порта.

Вроде Эммой зовут. Вроде не старая, вроде хороша. Стройная, гибкая. Наверно, какую-то жаркую кровь штормом сюда занесло в стародавние времена. Неважно: когда, почему...

Война? Бега? Голод? Мор?

Неважно.

Но красиво вышло: порт, окраина города, дети глазастые во дворах.

И непогода нестрашная тут, налетит – да растает. Лето.

«Клятое воглое лето. Черт!» – Эмма оступилась. Чуть в хлипкую грязь не упала. – «Тускло. Тускло тут, морось. И маяки не светят, а копят. И я... потерялась сегодня!»

Да. Сумрак. Дома черной плесенью поросли.

«Скучно тут спать. И просыпаться... зачем?» – женщина с трудом открыла железную дверь подъезда.

Скрежет петель. Свет – цепь лампочек до пятого этажа. Эти звезды недолго горят. До пятого долететь-то успеешь, а вот ключи, как всегда, не найдешь. И снова придется по клавише хлопать: щелчок, вспышка.

Прелюдия зябкого сна. Беззвучная пыль на ступенях.

«Ночь – время дьявола...» – так, не мысли, сквозняк.

Эмма ежится, ищет ключи.

«Сквозняки тут сегодня», – думает. – «Здесь всегда – сквозняки».

Дверь распахнула. Рывком, нервно, зло.

Зачем так спешить-то? Женщина словно бежит от чего-то. Или куда-то?..

Бежит.

«Путь от дверей до окна короток. Туфли сбросишь, плащ смахнешь. И – дома. Дома, как всегда», – Эмма подошла к окну.

И видно теперь – платье белое, узкое, до колена. Да пояс черный. Немодно? Пожалуй. А ей-то, похоже, и все равно.

«Дома!» – и смотрит в окно. И вроде не ожидала: закат лиловет над портом.

«Ночь – время страха и лжи...» – шепоток издали.

«Здесь всегда – шепотки, сквозняки», – улыбнулась Эмма. Как-то ярко, светло улыбнулась. Откинула волосы со лба и стоит. Расправилась вся. Что-то переменялось? Что?

«Паруса развернулись вдали», – женщина засмеялась.

Какие там паруса?!

Облака сгустились над портом, и не разобрать теперь – какое облако на птичью стаю походит, какое – стягом на ветру плескалось? Какие паруса за ближним туманом мерещились? Только...

«Гнаться за призраками да легендами – некстати к ночи!» – донеслось издали.

«Почему же некстати?» – Эмма вскинула подбородок. – «Надоело уже: не мысли, а так – шепотки, голоса. Гундосят на разные голоса: осторожно! Не стоит! Опасно. Как бы с ума не сойти...»

Поежилась. И обозлилась.

«А разве хорошее место – промозглый, обывденный ум? Безвольный шторм за мутным окном?» – Улыбнулась снова. Подумала что-то себе и сделала шаг. Не к стене, не к окну, а вроде...

«Никуда!»

И покачнулась. Вдох. Выдох.

Что-то переменялось? Разглядеть ее теперь не легче, чем в старом зеркале. Едва-едва. Смутно. Словно и не здесь она?..

«Не здесь».

*

«Я не играю давно. Не до того. Пыль на пианино. Беззвучный покой», – старик на девятом десятке в глубоком кресле сидит и глаз не поднимает. Что-то думает?

«Ночь – время дьявола».

И Бог с ним.

Когда подняться решит, секретарь поддержит. Не промахнется.

«Я надеюсь», – вздрогнул старик.

Кажется, все здесь не к месту. Все – лишнее. Хорош лишь кардинал в кресле. И облака за окном хороши. Кажется, паруса развернулись вдали.

Ну, может, еще секретарь в кабинете к месту. Сухой, внимательный, молчаливый. Бывший ученик. Друг. Помощь...

Старик-то пишет. До сих пор. Оттого секретарь и к месту. И не скучно ему. Секретарь помоложе кардинала, конечно, но далеко не юнец. Лет шестьдесят на вид.

Хотя... кто их видит?

«Я – вижу. Я – приглядываюсь издали», – подумала Эмма, – «И ни ранить, ни шутить не возьмусь. Сегодня... не возьмусь, пожалуй».

Хорошо, хоть так. Хорошо, хоть сегодня ей не до смеха. Все оттого, что дома штормит и хандра. А здесь тихо.

Кажется, вековая пыль в кабинете. Хотя ни пылинки не углядишь. И кажется, все лишнее старику: и поздний густой свет из окна, и росчерки облаков, на застекленных полках. И закат за окном.

«Даже книгам здесь сонно», – подумалось старику.

И кажется, никто не придет. Створки обложек не разомкнутся, не выпустят тихих жильцов.

«Даже тех не пустят, что без продыха лгут. И говорят невпопад, и кричат. И краплеными картами сыплют. И дешевыми чудесами слепят», – саму себя утешает Эмма.

Кардинал поднял глаза и долго глядит в окно.

«Яростный костер горизонта. Невыносимый сегодня», – вздохнул старик. Алые всполохи тонут в зрачках.

«Да, кардинал знает, что не один он сегодня... Он всегда не один. С тех пор, как книгу о Чаше Грааля закончил», – размышляет секретарь. – «Давно ведь закончил. А накатывает по сей день. Наверно, кто-то не дочитал? Или не понял?..»

Например, Эмма – в тумане. Потупилась и молчит.

«Книга за книгу», – хмурится гостья. Тряхнула головой, но мысли не отступили. – «Почему же мы спорим друг с другом, умышленно или невольно? И почему меня-то сюда занесло?»

Да оттого, что кардинал последних полгода почти не пишет. Заполнил два книжных шкафа. Довольно с него!

Теперь слушает шепотки, сквозняки.

«Конец пути. Конец земного паломничества», – старик на минуту сомкнул глаза.

Лиловые облака догорают. Город почти святой за окном.

Секретарь понимает: если учитель задумчив, значит, с кем-то сейчас говорит. На таком языке говорит, на котором и голос не нужен.

Оттого секретарь и молчит. Мешать разговору не стоит.

Это век наш шумный компьютеры изобрел, а учитель... Тишину предпочел. Кардинал из тех, кто древний язык понимает. Не о латыни речь, не о греческом, не об иврите. Речь о том языке, который теряем, учась говорить. И привыкли думать: на все нам довольно слов.

«А слова тесны, как назло!» – вспыхнула Эмма. На сизом облаке белая полоса прочертилась. И мерцает – тревожно, ярко, светло.

Старик открыл выцветшие глаза. Строго смотрит в окно.

Жаркий закат застыл в долгом взгляде, как на вытянутых руках.

Гостья хочет смолчать. Не получится.

Чем выше ушел, тем ты уязвимей. Тем недоступнее тишина.

«Прочитала я вас, – думает Эмма. – Не книгу вашу, нет, каюсь. Но вас самого... прочитала. Тяжелее понять, не спорю. Ворох черновиков, догадок, всего, что придется счеркнуть. Зато интересно. И не дают покоя мифы... Миф об утраченном языке, миф о Чаше».

«Все мифы переплавляет вера», – старик недовольно сощурился.

На окно не глядит больше. И правильно, ни к чему.

Иначе облака – как всегда – о перелетных образах примутся толковать, как о птицах перелетных... Стаи, стайки, косяки. От народа – к народу, от детской мечты – до стариковской тоски в темные вечера.

Кардинал не заметит. Больше в окно не глядит.

Спокойнее так. И думать не стоит, что и у неба... найдется язык.

Посложней человеческих. Даже забытых.

Нежданно налетел ветер. Пластает дальние кроны деревьев, хлопает в стену. Того и гляди в кабинет ворвется, разметет на столе бумаги, песчаного золота нанесет. А к чему здесь песок? Даже золотой?

Секретарь поднялся. Пора побережись. Закрыть, закрыть, закрыть окно!

«Где-то штормит?...» – Кардинал рассеянно смотрит в пол.

Никто не ответил.

И ветер замолк.

*

Наутро Эмма проснулась, обогнав рассвет.

Темнота, тишина за окном.

Утренние дела и в сумраке делать не в труд. Особенно, если утомониться не можешь.

«Странствующие сюжеты... сквозят», – думает себе Эмма, скитаясь по квартире. Обращается то ли к себе, то ли к вчерашнему вогломую дню, потонувшему ночью. – «Сказки летят... так же скоро, как я до вас и вы до меня! Стоит задуматься, затосковать, повернуть взгляд в себя самого. Вдаль? В детство? Туда, где слов еще нет?..»

Подошла к окну.

Рассвело. Чайки перечертили небо. Скользят над крышами, выкрикивают невнятные слова.

«Не разобрать...» – Женщина смотрит на горизонт за портом, улыбается. – «Да и не надо. Пусть говорят без меня».

Шторма и нет в помине. Перелетел куда-то. Со зла? От обиды? Случайно?

Ветер молчит.

Яков Берг (отец) и Святослав Берг (сын)

ТРИ «ТОВАРИЩА» ОДНОГО ПОЭТА

(Отрывок из романа «...И с Небом гордая вражда»)

1.

День был летний, длинный, солнце стояло яркое, высокое. В открытое окно навязчиво струились запахи вишневого варенья, которое с увлечением варили супруга Николая Соломоновича и стряпуха Ефросинья.

Н.С., хозяин поместья и глава семьи, засел за письменный стол в своем кабинете, что случалось крайне редко. Взял в руки перо и придвинул к себе тонкую пачку чистой бумаги. Легко написал сверху листа «15 июля 1871 года, село Знаменское»... Написал, прочитал и надолго задумался...

Что-то ему мешало, наверное неопрятный тяжелый халат, который шит был руками хозяйки, то есть супруги... Недовольно фыркнул, но удержался от бранного слова, придвинул стул поближе к столу и сверху первой записи сделал вторую. Крупно и красиво: «Моя исповедь». Тяжко вздохнул, пригладил пышные длинные усы, и увлеченно заскрипел пером.

«Сегодня минуло ровно тридцать лет, как я стрелялся с Лермонтовым на дуэли. Трудно поверить! Тридцать лет – это почти целая жизнь человеческая, а мне памятливы малейшие подробности этого дня, как будто происшествие случилось только вчера. Углубляясь в себя, переносясь мысленно за тридцать лет назад и помня, что я стою теперь на краю могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней моих сочтен, я чувствую желание высказаться, потребность облегчить свою совесть откровенным признанием о самых заветных помыслах и движениях сердца по поводу этого несчастного события...»

«Углубляясь» и «переносясь», он снова надолго задумался... Что-то опять мешало ему, вторгалось то ли в душу, то ли в глаза – противный, тошнотворный запах варенья или непрерывная болтовня супруги, поучающей многоопытную старуху-стряпуху, то ли затхлая и бедная обстановка его «убогова кабинета», то ли тяжелые, неустоявшиеся мысли... Воспоминания не удавались, не клеились... Ругнувшись на себя, жестко продолжил писанину: «Для полного уяснения дела, мне требуется...» И что же мне требуется? Может, подумал, или сказал вслух – хотел представить

личность Лермонтова так, как он понимал его... Но когда он понимал его? Когда учился вместе с ним в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров? Или позже, когда провел рядом с ним почти два долгих месяца 841 года в Пятигорске?

И встала в нем обида. Та самая, большая и горькая обида, которая привела к дуэли. Запутанная, многослойная и больная, разрушающая здравый смысл и приносящая чувствам боль. Все отношения его самого и его семьи, лучше сказать, сестер, с этим человеком – кровоточащая рана! Незаживающая все эти тридцать лет... Зарывав почти как от физической боли, он вскочил со стула, ударился ногой об стол, злобно крикнул в открытое окно: «Мадам, прекратите свои умничанья! Ефросинья сама разберется с вашим гадким вишневым вареньем!..» Зацепился тяжелым халатом – засаленной, потрепанной полкой за стул. И стул грохнулся ему под ноги. На одну ногу угодил, и ушиб довольно чувствительно... Сам же стул от падения рассыпался на составные части. И трухлява же нынче мебель! Как вся моя жизнь в деревенской глуши! «Нет, не создан я для деревенской жизни... То-то было на Кавказе! На мне блестящий наряд, белый бешмет и черная черкеска, большой кинжал в серебряной оправе, настоящая «гюрда»... И этот пети-Леонин посмел издеваться над моим нарядом! Сам-то, маленький, кривоногий головастик, мечтающий о славе Пушкина и выдающий себя за храброго офицера! Ряженный тенгинец! Таких в Тенгинском полку за людей не считали!.. Ну и что же такое этот Лермонтов?..»

Со скрежетом душевным, со скрипом в мозгах пытался утихомирить свою большую обиду, свой запоздалый гнев... Встал в позу перед большим, но тусклым и засиженным мухами зеркалом, поправил усы, взгляделся в себя... «Да, той красы и мощи уже нет, годы уходят, «все лучшие годы... Любить? Но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно!..»

– Хорошо, однако, писал, зараза! Ну как мне теперь его называть? Публика, читающая российская публика никогда не поймет меня, не простит... Я для них – убийца! На дуэлях не бывает убивцев. Дуэль – честное и критически возвышенное проявление силы и слабости, благородства и подлости... Благородства в нем было мало, вот в чем дело! То, что он позволил себе в отношении моих сестер, особенно Нагали – бесчестье! Иначе никак не назвать... – И помещик Мартынов Н.С. быстро двинулся к столу, поискал стул или кресло, ничего не нашел, согнулся над столом и продолжил писать стоя... Написал немного, несколько слов... И грубо

отшвырнул перо... «И кто же такой Лермонтов?

Поэт, Демон, Пророк? Да, поэт, но далеко ему до Пушкина... Слабовата копия... В каком-то смысле пророк, Пророк?... «Пророк наоборот!» Что пророчил другим, получил сам... Печорин издевается над Грушницким, это в его романе, в действительности же ему не пришлось поиздеваться надо мной... А если бы я не убил его, промазал или согласился выстрелить на воздух? Да уж он бы потешил секундантов, вдоволь бы почесал свой зловерный язык об мой халат, то бишь об бешмет и кавалергардский стиль, об меня самого... А как же Демон? Да, тут уж не отнимешь! Он – Демон, мелкий демон... Бес, а точнее ядовитый бесенок... И со мной согласится весь свет... И дамы большого света. И наши общие друзья-приятели... Но как бы на моем месте поступил другой?..»

Сейчас он не чувствовал той особой зависти и злобы, которые бывают свойственны юности, мятущейся молодости. А тогда... Тридцать лет назад он был в отставке. Надежды на великое кавалергардское поприще рухнули, развеялись, как дым, увязнув в крови и грязи бесконечных Кавказских войн... Зависть к пети-Леонину? – Вздор! Таланту поэта он не завидовал. Да и не верил в какой-то особый дар своего приятеля и однокашника... Подумаешь, стихи! Кто их не писал в альбомы провинциальных барышень!..

Но зависть была. К его славе, может быть и дутой, но чем-то же выделялся этот горбун Маешка из всех кавказских офицеров?! Везде и со всеми он был как бы на своем месте, в центре внимания, хотя никто из приятелей не уважал его, не любил... Значит – трусили! Все окружение, и в Петербурге, и на Кавказе – боялись его острого язычка? Чушь, конечно, но что же, что же в нем было такое, что раздражало меня? Слава храброго офицера? Скорее, хвастливого, самоуверенного петербургского шаркуна... И этот Маех позволял себе издеваться над другими...

И потянулся он памятью к далекому прошлому... Шаг за шагом...

В Москве ему не доводилось видеть Его. Может, и пересекались их пути в московских танцевальных залах, и общие знакомые были, но лично он Мишеля не знал, не запомнил...

Знакомство начиналось в Санкт-Петербурге, в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров...

По утрам, просыпаясь, она видела, ощущала себя в Москве, в родной семье, и радостно тянулась к шторам, чтобы отодвинуть их и зажмуриться от веселых бликов утреннего солнца... Но тут же вставала реальность: она не в московском доме папеньки-сенатора, а в петербургском, в супружеской

спальне. С двойственным чувством, замирая сердцем, подолгу сидела в постели, не решаясь позвонить, чтобы одеться и спуститься к завтраку. И сердилась на себя за то, что смущалась своего нового положения. Стыдилась откровенно изучающих, насмешливых и, как ей казалось, двусмысленных взглядов родственников мужа, прислуги... И поэтому избегала видеться с мужем днем, на глазах посторонних... Полгода она была замужем, и каждое утро с непреодолимым страхом и трепетом ждала, чтобы супруг удалился из дому по своим флигель-адъютантским обязанностям – к великому князю Михаилу Павловичу... И поэтому поздно выходила на люди, к многочисленным родственникам Анненковых...

Вера появилась в гостиной не ранее двух часов пополудни. К ней сейчас же с поцелуями подбежала Аннет, хорошенькая 17-летняя кузина ее мужа Николая. «Ах, душечка, голубушка, шерман-времен...» И прочий вздор, помесь французского с нижегородским... А тут и маман этой Аннет – старая тетушка Наталья Алексеевна Столыпина, и двоюродные сестры Николая – Екатерина Апраксеевна Столыпина и Елизавета Аркадьевна Верещагина. А у мадам Верещагиной дочь Сашенька, засидевшаяся в девах, малоприятная 22-летняя дурнушка...

Беззаботно жилось Vere а Москве, в доме отца, сенатора Бухарина. В Петербурге же и у нее появились некоторые обязанности. И перед мужем, что естественно, и перед его родней. Сама еще юная и неопытная, она должна была вывозить в свет – на балы, гулянья и в театры – кузин Анненковых... Женихов подыскивали в кругу генерал-адъютантов, друзей и приятелей Николая Николаевича Анненкова. Для Аннет Столыпной не составляло труда найти партию – тут под рукой были и Алексей Философов, и Александр Грессер, и молодой Шипов, и Бакунин... А вот для дочери тетушки Верещагиной кроме незavidного немца Хюгеля, никого не находилось... Впрочем Хюгель был барон, а это скрашивало многое другое...

В это угрюмое ноябрьское утро 1832 года, по-петербургски сумрачное и сырое, Vere представили еще одну тетушку Николая... Некую старуху Елизавету Алексеевну Арсеньеву. «Какое же дело у нее до меня?» – с тоской подумала молодая женщина, заранее настраивая себя как можно ласковее выслушать и попытаться отказать... Пришла к ней с визитом тетушка, чтобы просить Веру и Николая Николаевича немедленно отправиться в Школу гвардейских подпрапорщиков... Надо было срочно навестить ее внука, который, видите ли, прикован к постели – он сломал ногу. А бабушку к внуку не пускают!

– Я очень боюсь за Мишыньку. До этого, мой милый друг Верочка, я всегда была рядом с ним, а воинская служба разлучила нас...

Вместо принятого решения отказать, Вера пролепетала: «Немедля... Николая готов, и я!»

Вошел, гремя шпорами, при аксельбантах и золотой полусабле, красавец-генерал Н.Н.Анненков и тут же велел заложить лихих рысаков в сани. Вера любила санные прогулки, она поспешно собралась, и они помчались сквозь снежную метель к Синему мосту – в гости к барону Шлиппенбаху, директору Школы...

– Представлю вам, моя душечка, еще одного кузена, – весело крикнул на ушко жене 33-летний генерал. – Вы ведь с ним незнакомы!

У главного подъезда большого красивого здания, ставшего чуть позже дворцом великой княжны Марии Николаевны, кони встали как вкопанные, и метель утихла, пала под ноги лихим рысакам. Дежурный офицер Школы, вероятно предупрежденный бароном, четко и вежливо представился супружеской чете Анненковых, отдал честь по всей форме и повел прибывших «высоких гостей» в лазарет, где томился болезненный внук отставной поручицы Арсеньевой...

В лазарете было не совсем светло и очень неуютно. Больной лежал на койке поверх одеяла, небрежно укутав ноги толстой солдатской шинелью, а вокруг него сгрудились «сопливые» юнкера, чему-то радуясь и посмеиваясь, а потому глуповато выглядели в глазах юной дамы – их открытые рты ужасно поразили Веру. Как вошла, она сразу и навсегда вознегодовала и на «кузена», и на всю его свиту. Настроение испортилось, и она уже ничего не слышала, не видела, мечтая лишь поскорее выбраться на свежий воздух. Внук «отставной гвардии поручицы» что-то усердно рисовал на потеху своим тупоголовым приятелям...

Адъютант великого князя коротко и мягко, без церемоний, представил юнкеру «его новую кузину», а тот даже не соблаговолит встать перед дамой, смерил «их сиятельство» Веру с головы до ног уверенным и недоброжелательным взглядом. Его глаза, большие и мрачные, казалось, просветили ее всю насквозь рентгеном, до самых глубоких тайников капризной девичьей души... С трудом дождалась она, когда муж, наконец-то, попрощался с кузеном и они снова оказались в нарядных двухместных санях. Перестав вдыхать спертый казарменный дух, Вера брезгливо фыркнула: «...Желчный тип, этот «мой кузен»! Наполненный собой, нервный и злой, упрямый и неприятный!...»

Николай рассеянно согласился с женой, что юнкер... Моллер или

Мюллер, внук Арсеньевой, действительно донельзя избалован бабкой, и тут же забыл совсем и юнкера, и визит к нему...

И сейчас, стоя у окна своего деревенского кабинета и слушая перебранку супруги с кухаркой, Николай Мартынов живо вспомнил то самое «мимолетное виденье» в лазарете Школы, и как он завидовал пети-Мишелю. Еще бы, такая красавица, известная ему по Москве, соизволила навестить Маешку. А он прикинулся равнодушным и даже раздраженным визитом четы Анненковых. И

как он тогда же напомнил «паршивцу»:

– Не ты ли, брат Лерма, всего год тому назад, приперся в канун новогодних торжеств в образе звездочета-чревоушителя с охапкой мадригалов? И в одном из первых твоих посвящений значилось имя Веры Бухариной! Ха-ха три раза!

Как отшутился Лерма-Лермонт, Николай Соломонович уже не мог вспомнить. Ясно было одно, хитер жук, прикидывался равнодушным, а сам глотал слюнки, плотоядно взирая на прелести «новоиспеченной» кухни... Вера Бухарина-Анненкова! Да за одну ее улыбку он, как все юнкера, готов был отдать жизнь!.. Две строчки из того памятного мадригала Н.С. запомнил, и вслух продекламировал, без иронии, с пафосом:

– «Не чудно ль, что зовут вас Вера, ужели можно верить вам?»

Слова его коснулись слуха супруги, и она не замедлила с восторгом отозваться:

– О, Николая, вы вспомнили мое имя! Поди уж лет десять-пятнадцать я слышу от вас это унижительное «мадам да мамзель»! Вы хотите меня видеть?

Он сначала удивился. А потом расхохотался:

– Нет, нет, что вы, мадам, я занят, я нынче пишу!

Ржавый, скрипучий смех напомнил ему давнишние слова кого-то из сестер или маман, сказанные ему давным-давно, о том, что будучи в гостях у Мартыновых, где-то в конце 40-го или в начале 41-го года, этот «паршивец» Мюль ни с того, ни с сего вдруг расхохотался на лестнице, прощаясь с его сестрой Натали! Это сейчас неприятно поразило его! Не в этом ли причина его злости, неуют и терзания? Как посмел этот Демон, Горбун, Бес-бесенок хохотать над его сестрами, раздражать его маман, мешать спокойно жить ему уже три десятка лет! Вся жизнь омрачена вмешательством Лермонтова в судьбу его сестры, в судьбу самого Н.С. И если он никогда, ни разу не напомнил об этом никому из друзей-приятелей, не предал семейные тайны общественному обсуждению, то это только потому, что боялся осмеяния...

Он боялся всего... И осмеяния, и осуждения.... Да, он не был героем, он трусил многого, многих условностей, обычаев, традиций... Но кто давал право Лермонтову смеяться над ним, над святой святых его жизни – над бедной его маман, над бедными его сестрами... Его в семье считали умным, смелым и единственным защитником... Отца не было в живых, скоро за ним последовал старший брат Михаил Мартынов. И Николай остался один мужчина в их роду. Один, кто обязан был защищать сестер... Его «защита» свелась к тому, что он нигде, никогда не вынес на свет божий тайны переписки Натали... А Мюл протащил все ее тайны, маленькие и большие, все ее девичьи мечты, надежды, заблуждения – в гадкую книжонку «Княжна Мери»! Нет сомнений, это все о ней – ведь в 1837 году из всех московских барынь только маман Мартынова была в Пятигорске с дочерьми. Тут и разъяснений никаких не надо. Все ясно даже ребенку. И «пропажа» груды писем, и дневниковых записок Натали, и трехсот рублей, которые вез Мюл для передачи Николаю в 1837 году – явная ложь! Мюл вскрыл пакет, использовал всю семейную переписку Мартыновых, чтобы создать мерзкий «дневник Печорина»... Мартынов от досады и горькой обиды заскрежетал зубами. Нет, сегодня он не мог писать воспоминаний о том, что произошло 30 лет тому назад...

...Не мог, не хотел... Ведь если он проболтается, хоть вскользь, пострадает не только его Имя, клевета достигнет Натали! Ради сестры и маман, – он никогда не проговорится. Никогда не назовет истинные мотивы ненависти к Поэту, Пророку, Демону... И скроет настоящие причины состоявшейся дуэли... Пусть клеймят его убийцей и враги, и друзья, он не выдаст семейной тайны... Ему не надо оправданий, он свылся со своей ролью. Ему теперь наплевать на всех и на все! Жизнь прошла, осталось совсем немного, и ничего ни лучшего, ни худшего уже не произойдет. Ничего!..

В памяти, потревоженной попыткой что-то написать в свое оправдание, мутными мазками пронеслись давние годы церковного покаяния, на которое обрекли его за пустяшную-зряшную дуэль – 10 лет «сидения» среди монахов Киево-печерской лавры – каторжный срок! Слава Богу, помиловали, скостили половину срока. Но и теперь, по истечению многих лет, он не мог, не хотел смириться с «царской милостью»... Мнение современников, что ему жилось на покаянии весело и привольно – полнейшая чушь! Немое обожание светских барышень и дам – нелепая выдумка, а может и зависть. Немало ведь таких подонков, кто жаждал

хотя бы такой славы, которая пришла к нему с убийством великого Поэта... Ему же горько и страшно было нести свою «славу». И ничем не мог он облегчить душу свою. Но главное, главное в том, что мать его и пятеро сестер бедствовали вдаль от любимого сына и брата, а он ничем не мог помочь им. Когда еще жив был старший брат Михаил, уже тогда Николая был для маман и для сестер единственной их надеждой на возрождение былого благополучия, которое было при отце, разбогатевшем на винных откупах... (На винных откупах разбогател и весь род Столыпиных, а следственно и бабка Лермонтова, но им, Столыпиным, никто никогда не тыкал в глаза сей двусмысленный, даже постыдный факт!)

Николая, защитник чести сестер, любимчик матери, призванный быть опорой всей семьи, бездействовал, томился в стенах монастыря, издали наблюдая тяжкое положение родных, которые невинно разделяли его «преступление», подвергаясь негласному остракизму – многие московские дворянские дома отвернулись от них... Из «надежды и опоры» семьи он превратился в обузу для тех, кого любил, кого призван был беречь и защищать... И что же он должен был чувствовать к этому пети-Мишелю? Мало сказать – неприязнь, он чувствовал к нему ненависть. Из гроба доставал его Мюл, тянулся к нему костлявой дланью, сжимал сердце, бередил незаживающую рану.

2.

В этот же день, 15 июля 1871 года, засел за «стол воспоминаний» князь Александр Васильчиков.

Ему есть что рассказать о дуэли Лермонтова с Мартыновым... Тридцать лет назад князю было всего 23 года, как и Михаилу Глебову, секунданту со стороны Мартынова. Впрочем, Васильчиков тоже был со стороны Мартынова. Вся путаница началась с того, как секунданты вынуждены были поделить свои роли. Имена Монго Столыпина и Сергея Трубецкого утаили по многим причинам, но именно эти двое представляли лермонтовскую сторону. «Джентельменское» соглашение издавна предписывало объявлять о своем участии в дуэли сторону победителя, а побежденные занимались похоронами погибшего... Когда Васильчикова спрашивали, кто из них был секундантом Лермонтова, он путался и отвечал по-разному, дескать, у нас не было определено, кто чей секундант... Прежде всего Мартынов просил Глебова, с коим жил в одной квартире, быть его секундантом, а потом, на месте поединка, «как-то так случилось, что Глебов был секундантом Лермонтова»...

Засев за письменный стол в громадном и роскошном кабинете, высокие окна которого выходили на Фонтанку, князь споро и уверенно закрипел пером. Ему, сенаторскому выученику, не составляло труда все припомнить и четко записать...

Заголовок... нечего мудрить: просто – «Несколько слов о кончине М.Ю.Лермонтова и о дуэли его с Н.С.Мартыновым.» И тут же текст:

«За последнее время появилось несколько статей и отрывочных рассказов о смерти Лермонтова, в коих мое имя было упомянуто в числе свидетелей дуэли. В приложениях к Запискам г-жи Хвостовой помещено заявление Н.С.Мартынова, который прямо ссылается на мои показания... Да-с, много подробностей, столько же интересных, сколько и неверных.

Это вынуждает меня прервать 30-летнее молчание, чтобы восстановить факты и описать это горестное происшествие, которому я действительно имел несчастье быть свидетелем на 22 году моей жизни. Молчал же я по сие время потому, что не считал себя вправе, по смерти одного из противников, без уполномочия другого, живого, излагать мое мнение о событии, в свидетели коего я был приглашен по доверенности обеих сторон. Но 30-летняя давность, посмертная слава Лермонтова и, наконец, заявление Мартынова, напечатанное в «Русской старине» и вызывающее меня к сообщению подробностей, всё это побудило меня сказать несколько слов в ответ на неточные и пристрастные отзывы.

В июле месяце 1841 года Лермонтов, вместе с своим двоюродным братом Алексеем Столыпиным и тяжело раненным Михаилом Глебовым возвратились из экспедиции, описанной в стихотворении «Валерик», для отдыха и лечения в Пятигорск. Я с ними встретился, и мы поселились вместе в одном доме, кроме Глебова, который нанял квартиру особо. Позже подъехал к нам князь Сергей Трубецкой, которому я уступил половину моей квартиры...» (От автора. Здесь необходимо внести поправки... Князь «Ксандр Василь-Чиков по батюшке» или запомятовал, или нарочно «путал следы»... Он прекрасно знал, что Монго Столыпин был дядей Лермонтова, хотя бы и моложе племянника почти на два года, но это так. Далее: сражения при Валерике были 11 июля и 30 октября 1840 года. И в конце 840-го года Лермонтов ездил в отпуск в Санкт-Петербург, а 13 мая 1841 года самовольно явился вместе с Монго прямо в Пятигорск, на воды! К Михаилу Глебову Лермонтов заезжал в апреле 1841 года – в имение его отца-генерала Мишково, Мценского уезда, Орловской губернии, и тяжело раненный Глебов-младший позже приехал на воды... Но вернемся в петербургский кабинет Васильчикова.)

«...Мы жили дружно, весело и несколько разгульно, как живется в этом беззаботном возрасте, 20 – 25 лет. Хотя я и прежде был знаком с Лермонтовым, но тут узнал его коротко, и наше знакомство, не смею сказать наша дружба, были искренны, чистосердечны. Однако глубокое уважение к памяти поэта и доброго товарища не увлечет меня до одностороннего обвинения того, кому, по собственному его выражению, злой рок судил быть убийцею Лермонтова.»

И князь принялся излагать известное: про якобы «несносный» характер Поэта, который отличался заносчивостью, даже злопыхательством и зловредностью... И Мартынов, «положа руку на сердце», и все родственники Столыпины в один голос твердили об испорченности внука Арсеньевой, которая де заласкала, задурела внука тем, что не чаяла в нем души... А был ея внук самолюбивый и злой, тяготился своим невзрачным внешним видом, а потому и презирал всех вокруг себя, особливо красивых, приличных и добропорядочных умников...

Описав несколько шуточных и неприличных выходов поэта, князь перешел к делу, то есть к фактам, относящимся к дуэли:

«...на вечере у генеральши Верзилиной Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым. Что он сказал, мы не расслышали... знаю только, что, выходя из дому на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: «... Я терпел, м-сье Лермонтов, ваши шутки, но не люблю и не желаю, чтобы вы повторяли это при дамах...», на что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: «Не желаете, не любите, так потребуйте удовлетворение...»

Вот и первая ложь... Когда началось следствие по делу о дуэли Мартынова с Лермонтовым, лукавец князь Ксандр нашел способ втайне от стряпчего передать Мартынову записку с наставлением: «Напирайте на слова Лер-ва «Ах, вам не нравится, что я говорю, так потребуйте у меня удовлетворения!» Эти его слова не только подтолкнули вас к вызову, но сами по себе уже были вызовом...».

Из чего вытекало – Мартынов был поставлен в затруднительное положение, и ему ничего не оставалось, как послать противнику формальный вызов на дуэль! А по сути де, слова Лермонтова сами по себе уже были вызовом на дуэль!

«...Больше ничего в тот вечер и в последующие дни, до дуэли, между ними не было, по крайней мере нам, Столыпину, Глебову и мне, неизвестно, и мы считали эту ссору столь ничтожною и мелочною, что до последней

минуты уверены были, что она кончится примирением... Тем не менее все мы, и в особенности Мих. Глебов, который соединял с отважною храбростью самое любезное и сердечное добродушие и пользовался равным уважением и дружбою обоих противников, все мы, говорю, истощили в течение трех дней наши миролюбивые усилия без всякого успеха. Хотя формальный вызов на дуэль и последовал от Мартынова, но всякий согласится, что вышеприведенные слова Лермонтова «Потребуется от меня удовлетворения» заключали в себе косвенное приглашение на вызов, и затем оставалось решить, кто из двух был зачинщик и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению.

На этом сокрушились все наши усилия... и 15 июля часов в 6 – 7 вечера мы поехали на роковую встречу... но и тут, в последнюю минуту, мы, и я думаю, сам Лермонтов, были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут... ужинать.

Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место по тропинке, ведущей в колонию (имени не помню) – хотя это была колония Шотландка или Каррас – (Прим. автора...), темная, громовая туча поднималась из-за соседней горы Бештау...

Мы отмерили с Глебовым 30 шагов... последний барьер поставили на 10-ти и, разведя противников по крайние дистанции, положили им сходить к каждому на 10 шагов по команде «Марш!» Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой – Лермонтову, и скомандовали «Сходи!» Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не успев даже захватить большое место, как это обыкновенно делают люди раненные или ушибленные.

Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом – сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие...»

Доктора на месте дуэли не было... По словам князя Васильчикова, никто из них не пожелал ехать, и тогда он помчался в Пятигорск, оставив Мартынова и Глебова при теле убитого... И снова доктора изловить не удалось – помешала разразившаяся в горах мощная летняя гроза. И князь возвратился назад. К месту дуэли... «Когда я возвратился, Лермонтов уже

мертвый лежал на том же месте, где упал... около него были Столыпин, Глебов и Трубецкой. Мартынов уехал прямо к коменданту объявить о дуэли.

Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу.

Столыпин и Глебов уехали в Пятигорск, чтобы распорядиться перевозкой тела, а меня с Трубецким оставили при убитом...»

Васильчиков оторвался от записок, раздраженно потер лоб, оттолкнув от себя тяжкие воспоминания... Получается, что «любезный дядюшка» поэта Алексей Столыпин, по кличке Монго, а также Сергей Трубецкой опоздали к началу дуэли?! Но ведь этого не могло быть! Трубецкой и Столыпин – секунданты Лермонтова, а сам Васильчиков и милейший Глебов – секунданты Мартынова... Здесь что-то не так... Злой умысел, или память подвела автора записок?!

Перечитал написанное, кое-что поправил, и опять впал в раздражение, похожее на тоску. «Ну сколько можно твердить одно и то же, а публика требует от меня все новых и самых свежих, самых точных пояснений... Тьма биографов поэта лезут ко мне в душу с расспросами, как будто я могу вернуть им живого и невредимого Лермонтова! И почему молчат его ближайшие друзья, тот же Монго, и... То есть, почему молчали, теперь же, слава Богу, одних уж нет, а те далеке... Приходится нам, мне и Мартынову отдуваться за всех...» Конечно, он знал, что Миша Глебов умер в 1847 году, 29-ти лет отроду – не надолго пережив Поэта... Столыпин скончался в 1858, где-то в Италии, вдали от родины и вдали от горьких воспоминаний. Похоронен с помпой во Флоренции, как герой всех прошлых и будущих кавказских войн!.. Через год та же участь постигла князя Сергея, он умер в 45 лет.

И теперь в живых осталось их двое... Но воспоминания пишут все, или почти все, кто знал или просто был знаком с Поэтом. «Писателей» расплодилось множество, и каждый из этих господ хочет показать, что больше нас знает подробности жизни и характера Лермонтова, и даже о дуэли его с Мартыновым знают такие подробности, которых не знаем мы с Николаем!..

Подавив в себе раздражение, князь решил закругляться со своими «воспоминаниями»... Рука устала, перо брызгало чернилами, иссяк запал... «...Вот и все, что я могу припомнить и рассказать об этом происшествии, случившемся 15-го июля 1841 года и мною описываемом в июле

1871 года, ровно через 30 лет. Если в подробностях вкрались ошибки, то я прошу единственного оставшегося в живых свидетеля Н.С. Мартынова их исправить. Но за верность общего очерка я ручаюсь.

Нужно ли затем возражать на некоторые журнальные статьи, придающие, для вящего прославления Лермонтова, всему этому несчастному делу вид злонамеренного, презренного убийства? Стоит ли опровергать рассказы вроде того, какой приведен в статье «Всемирного труда» (1870 года №10), что будто бы Мартынов, подойдя к барьеру, закричал: «Лермонтов! Стреляйся, а не то убью», и проч., проч., наконец, что должно признать вызовом, слова ли Лермонтова «Потребуй у меня удовлетворения» или последовавшее затем почти вынужденное этими словами самое требование от Мартынова.

Положа руку на сердце, всякий беспристрастный свидетель должен признаться, что Лермонтов сам, можно сказать, напросился на дуэль и поставил своего противника в такое положение, что он не мог его не вызвать...»

4.

«..Какое же столетье на дворе?...» На дворе стоял год 1875-ый. Нет, не стоял, а медленно двигался, пробуксовывая, и не вперед, а вспять, приближая смерть...

Село Знаменское заметно состарилось, поблекло, как и сам хозяин этой вотчины – Николай Соломонович Мартынов. В сем году ему стукнуло 60 лет, возраст по тем временам почтенный и критический... И он в самом деле умирал... Медленно, спокойно, «без шума и пыли» отдавшись в цепкие руки увядания...

В полудни, как обычно любой помещик, он отдыхал «на обломовском» диване в своем сумрачном кабинете. В руках, подрагивая, распуттил, нахохлившись, свои желтеющие листы толстый журнал – «Русский архив», №3 за 1872 год. Много раз читал и перечитывал он эту книгу, не всю, а лишь статью князя Ксандра – о дуэли Лермонтова с ним, хозяином Знаменки. Время шло, и все, что написал Васильчиков теперь, с годами, становилось непогрешимой истиной, подлинной каменной стеной и оградой для самого Васильчикова, ну и для Мартынова... Потому и свою «Исповедь» Мартынов так и не завершил, остановился на фразе «Генерал Шлиппенбах, начальник школы...». С годами забыл, что же он хотел сказать? О том, что на рапирах он драться не любил и не умел, а предпочитал на эспадронах – так же поступал и юнкер Лермонтов. О! сабельный бой –

для всех зевак было прекрасное зрелище, не то что бой на шпагах... Когда он рубился с Лермонтовым или с верзилой Тизенгаузеным – все классы сбегались посмотреть!

А потом был выпуск – у Лермонтова год 1834, у него – 1835-ый. Коротышку-гусара в салонах Петербурга красавец-кавалергард видел редко, да со временем и вовсе позабыл все проделки и насмешки этого зловредного горбуна. А февраль 1837 года вдруг напомнил о нем, о Лермонтове – кавалергарды стеной встали на защиту чести и достоинства однополчанина, который осмелился стрелять в Большого Русского Поэта, когда неугомонный «пети Мишель» вдруг, ни с того, ни с сего, выстрелил в большой свет разнузданной и жалкой пиесой (эклогой?) «Смерть Поэта». И кому это было нужно? Стишками человека не воскресить, о душевной боли мужчине следует молчать, не греметь попусту словесной бранью, а вызвать убийцу к барьеру...

Написал, писака, и прославился в демократических, лучше сказать, демонических кругах молодежи. Гвардии же плевать было на гнев и слезы «пети Леонина»! А вот дамы высшего света, все эти графини Эмилии и Воротыньские, буквально повисли на хилых плечах поэта-гусара. И, возможно, потащили в свои будуары... Жалкие потаскушки!

И умирая, он слегка воспалился злобной мыслью. Но тут же остыл – холодную старческую кровь ни любовью, ни злостью не возмутишь, не взбунтуешь противу серой никчемной жизни, ее жестокой несправедливости... А этот Мишель Леонин все время бунтовал, кривлялся, корчил из себя второго Пушкина, писал пасквили... Но хуже «Героя» ничего не придумаешь! Пока Мартынов не читал «Княжны Мери» – он спокойно относился к творчеству Лермонтова, и при редких случайных встречах легко переносил его гадкий вид и дурной характер. В 1841 году, на водах в Пятигорске – слишком затянулось их общение, их совместное прозябание на Кавказе. И он не выдержал словесного поноса подонка-остряка, не мог смириться, что этот вот гаденыш доставил много мучений его сестре Натали, да и маман, г-же Мартыновой, которая ненавидела жалкого Мишеля, и предвидела, что за все ласки, за хлеб-соль он оплатит грязной клеветой и неблагодарностью... И точно, новая писанина Мюла превзошла все его подлости! До каких же пор сносить язвительные насмешки, прикидываться добродушным глупцом? Николая дрожало от ненависти и злости, но противная робость подавляла его решимость, он готов признаться сейчас, на смертном одре, что боялся проклятого карлика. Только соберется нагрубить, обрезать язвительные насмешки

Мюла, как руки (сердце в страхе) опускаются... И не трус же он был, и справедливо считали его своим защитником и маман, и все пятеро сесетер, и еще двое братьев... Семья-то большая, а после смерти отца он как бы стал главой бедного семейства... И стыдно ему было каждый раз пасовать перед горбуном Маешкой, скрывать свои чувства, поддакивать ему, смеяться над его шутками беззаботным смехом придурка.... Да, он не славился хитростью князя Ксандра, и умником не был, но и в его груди билось сердце храброго офицера и любящего сына и брата.

Старость не знает ни страха, ни злобы, ни острой радости... Все вокруг и в нем самом – серо, тускло, невыразительно, и ничтожно... Возникающие в памяти картинки не волнуют ни сердце, ни кровь... Он задержался памятью в 1837 году... Сочинителя стихов на «Смерть Поэта» отправили в Нижегородский драгунский полк, который стоял на Кавказской линии – во фронт, пусть послужит, голубчик, хлебнет армейской кашицы... А кавалергард Мартынов, как впрочем многие другие гвардейские офицеры (петербургские шаркуны), отправился следом на Кавказ, но «охотником» – заслуживать Георгиевский крестик...

В сентябре через Ольгинское укрепление, где обитал «охотник»-кавалергард Мартынов, прошел отряд генерала Вельяминова, проводивший карательную экспедицию. За этим отрядом гнался Лермонтов, чтобы принять участие в боевых стычках с горцами. Но, как всегда, опоздал – Вельяминов успел покинуть Ольгинское, когда прапорщик соизволил явиться... Если память не изменяет – 29 сентября... Да, а год был 37-ой... Тут-то только узнали, что экспедиция отменяется. Это означало, что Лермонтову необходимо проделать обратный путь к Тифлису.

Лермонтов разыскал Мартынова, чтобы передать ему ларец с деньгами и письмами маман и сестер. Но никаких писем при нем не оказалось. Без тени смущения, как-то очень уж беззаботно и весело сообщил другу-приятелю, что его «обокрали», увлекла Маешку некая ундина из Тамани, строила «куры», а слепой мальчишка унес все ценности проезжего офицера – шашку, настоящую «гюрду», дагестанский кинжал в серебряной оправе, ну и ларец со всеми деньгами и бумагами... Трудно было поверить ему, да и сам рассказчик не очень-то скрывал, что несет полную чушь... Походя сочинял, ну мастак!.. романтическую белиберду! Николая хотел расспросить Мишеля, как там проводят время на водах в Пятигорске его родные, что на словах передавали сестры, когда планируют уезжать в Москву, кто еще из знакомых офицеров посещают салон его маман? Здоровы ли младшенькие сестры? Единственное, что смущало Николая,

так это тот факт, что Лермонтов ЗНАЛ О СУММЕ ТЕХ ДЕНЕГ, которые были вложены в конверт с письмами и записками Натали... Отсчитал 300 рублей, и небрежно сунул в задрожавшую руку Николая – все де, «финита ля комедия»... А, может быть, маман или Натали сказали ему о деньгах? Позже Мартынов выяснил: нет, ничего о деньгах ему не говорили, сам узнал! Спрашивается, каким образом?.. А тогда, при встрече в Ольгинском укреплении, никаких сомнений Николая не высказал, ибо не имел никаких претензий, обрадовавшись «кругленькой» сумме, собранной с великим трудом и тщанием любимой маман...

«...5 октября 1837 года.

Триста рублей, которые вы мне посылали через Лермонтова, получил, но писем никаких, потому что его обокрали дорогой, и деньги эти, вложенные в письма, также пропали, но он, само собой разумеется, отдал мне свои...»

«...6 ноября 1837 года.

...Твое письмо, дорогой Николай, писанное из Екатеринодара, доставило нам большую радость... Но там, кажется, очень плохой климат... Мой отец служил в этом городе и был очень болен, вот почему я так тревожусь за тебя, мой добрый друг, и буду счастлива и спокойна лишь по твоём возвращении. Как мы все огорчены тем, что наши письма, писанные через Лермонтова, до тебя не дошли. Он освободил тебя от труда их прочесть, потому что в самом деле тебе пришлось бы читать много: твои сестры целый день писали их! Я, кажется, сказала: «при сей верной оказии»... После этого случая даю зарок не писать никогда иначе, как по почте... по крайней мере остается уверенность, что тебя не прочтут!..»

Давно это было, но память услужливо подсказывала ему мельчайшие подробности...

Была лишь одна встреча с Лермонтовым в памятном и богатом на события 1837 году, но хватило ее на несколько лет вперед, чтобы мучаться и терзаться неясными мыслями о том, что происходило или могло происходить между Лермонтовым и сестрой Натали. В семье об этом не говорили, но и в искусственном умолчании крылось что-то ложное, даже стыдное... Не хотелось бы еще раз встретиться с ним... И Николая удавалось избегать личного общения с ним почти четыре года, или три года? Летом 41-го года они, наконец, встретились, и вынуждены были общаться почти два месяца! «Тихое лето на водах» для кого-то – сплошной праздник, весело и беззаботно проводили время и Лермонтов, и Монго

Столыпин, и Васильчиков... Даже тяжело раненый Миша Глебов. И только ему, Николаю Мартынову, давняя обида, и скрываемое чувство досады, и безволие, приводившее к безропотному подчинению чужой воле, злой воле и сверхестественной энергии забияки Маешки, мешали в полной мере насладиться свободой...

Но и до этого, до 1841 года, на большом расстоянии друг от друга, Мартынову приходилось «воленс-неволенс» много слышать о Маешке, много знать о всех его светских и полусветских «художествах»... Ну не черт ли он из табакерки?!

Только на минутку забудешь его, вздремнешь на досуге, а он тут как тут!

1840-ой год. Мартынов вторично отправился «охотником» на Кавказскую войну. Он уже майор, и снова щеголяет не в кавалергардской форме, а в черкеске с газырями, в большой мохнатой папахе – красавец-майор Гребенского казачьего полка!

А Лермонтов, по слухам, делает головокружительную карьеру в салонах и будуарах великосветских красавиц, пишет и печатает стихи, посвященные самым милым и прекрасным женщинам... Графиня Эмилия Мусина-Пушкина, княгиня Мари Щербатова – обе прелестницы уже проходят по списку «юных вдовушек»! Но называются имена замужних красавиц: совсем еще юной графини Воронцовой-Дашковой, г-жи Смирновой-Россе; поэтессу графиню Евдокию Ростопчину тоже втискивают в «список Мюла», как будто явился из Кавказа настоящий Демон русской души, женский угодник и «дон Кандом».

Даже дочь царя, великую княжну Марию Николаевну каким-то чудом занесло в тот же ряд... «благоволящих лейб-гусарскому поэту»! Да уж не сошел ли с ума весь этот праздный и блудливый бабский бомонд! Что они находили в кривоногом Малыше Леонине?!

И мало ему Петербурга! Какими-то неисповедимыми путями заносит его в Москву, и его имя звучит в письмах маман к сыну... Да пропади он пропадом, пострел! Неужели принялся за старое: решил приволокнуться за Натали, а может за подросшей и на диво расцветшей Юлией? Маман уже писала, что от Юлии без ума богатый князь Лева Гагарин... Уж не пари ли заключили Маешка со Львом, чтобы потешить свое самолюбие? Убить их мало! Обоих.

«...25 мая 1840 года. Москва.

Где ты, мой дорогой Николай? Я страшно волнуюсь за тебя, здесь только и говорят, что о неудачах на Кавказе... каждый вечер гадаю на трефового короля и прихожу в отчаяние, когда он окружен пиками... Мы еще в городе,

погода все еще холодная, но я думаю перебраться во вторник... но сколько бы я ни меняла обстановки, воспоминание о моем горе всюду преследует меня, я влачу свое жалкое существование. Оплакивать воспоминания прошлого – занятия каждого моего дня, когда только я могу это делать...

Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю... у него слишком злой язык и, хотя он высказывает полную дружбу твоим сестрам, я уверена, что при первом случае он не пощадит и их... эти дамы находят большое удовольствие в его обществе. Слава Богу, он скоро уезжает... для меня его посещения неприятны...

Постскриптум. Твои сестры спят, как обычно, я их еще не видела. Они здоровы и много веселятся... от кавалеров они в восторге.»

До «тихого лета на водах» 1841 года сознание умирающего не дотянуло, угасло раньше, чем ожидалось... Горькие воспоминания сыграли с 60-летним стариком роковую роль...

Год 1875 от Р.Х. стал последним годом земной жизни осужденного, так и неоправданного Николая Соломоновича Мартынова. Жаль горемыку.

И все-таки – Мир праху Его!

Наталья Воронцова

ДОМА

(Отрывки)

КИРОВА 19.

Мы жили в красивейшем районе Риги, на красивейшей улице – Кирова. По названию улицы сразу понятно, в какие годы. Потому что до войны эта улица называлась Елизаветинская – Элизабетес. Своё название улица получила в честь супруги российского императора Александра Первого – императрицы Елизаветы Алексеевны.

Мы, конечно, этого не знали.

Папа взял меня с собой, чтобы посмотреть комнаты. Дом показался мне дворцом. Через дорогу – Стрелковый парк. Квартира на третьем этаже. Когда мы вошли в первую комнату, я подумала, что это музей: люстра как корабль, переливается всеми цветами радуги; мягкий ковер, большие бархатные кресла, бархатные вишневые пуфики на золоченых львиных ножках, на окнах бархатные занавеси со шнурами с золотыми кистями, пальмы, картины в золотых рамах.

В углу печь до потолка – как из сказки, на ней не было ни одного незаполненного сантиметра! Лепные гирлянды из листьев и гроздей винограда, по углам каминной полки – страшные драконы с человеческими лицами, а в центре – овальная ниша, увитая плющом, с бюстом какой-то богини. Высоко-высоко под самым потолком вздымались две волны. Золотой бордюром завершал это великолепие. Совсем как потом в тетрадках мы заканчивали домашнюю работу цветным бордюром в одну клеточку. Одним словом, зал из любимого балета «Золушка»!

– Ну, как, Наташенька, тебе нравится, хочешь здесь жить?

– Да, очень, – горячо ответила я.

Каково же было мое разочарование, когда мы переехали в совершенно пустые комнаты. Исчезли сказочные пуфики, люстра, ковры, бархат, пальмы, картины. Мне объяснили, что это была мебель хозяев этих комнат, они переехали в нашу бывшую квартиру, а мебель забрали с собой. Я чуть не плакала. «Ах, как жаль! Почему же они уехали?»

Оказывается, это была коммунальная квартира из 8 комнат, и в каждой комнате живет семья. Две комнаты из них теперь наши, а в остальных живут чужие люди. А в нашей бывшей квартире было только две семьи. Но она была на первом этаже, мало солнца, и мы все

время болели. Вот мы и обменялись, чтобы быть поближе к солнцу. Так мне объяснили родители.

Я недолго горевала. Как привольно можно здесь бегать и веселое эхо повторяет все слова. Царица-печь стоит как стояла, ее можно разглядывать часами. Особенно когда болеешь. Там разыгрываются баталии, львы сражаются с драконами, в зарослях винограда скрываются тигры с ощеренными пастьями, на болотцах с лилиями сидят совы, летают стрекозы. Всем этим действием управляет обнаженная богиня с венком на голове. Странное дело: после выздоровления я опять пыталась увидеть все это, но – ничего не находила. Превращения этой печи стали моей первой тайной.

Скоро я познакомилась с детьми новой квартиры. Сережа и Юра – дети военного, Роланд – сын чемпиона Латвии по теннису, Лариса и Шурик – дети прокурора нашего района. Были еще тетя Настя и дядя Вася, они сдавали угол своей комнаты какой-то девушке из своей деревни... Ира, завмаг, с мужем... Всего 19 человек. Была еще девичья комната, которую приспособили под кладовую и хранили там картошку. Со временем кладовую ликвидировали и вселили туда молодую пару с ребенком. Итого 22 человека. У нас были две большие смежные комнаты, остальные комнаты уменьшались в размере по мере приближения к кухне. Поэтому все дети катались на велосипеде вокруг стола в нашей комнате, затем по длинному коридору, в кухне разворачивались и обратно.

Была еще большая ванная комната, похожая на пещеру: с потолка свисали сталактиты и сталагмиты – черная паутина с облупившейся краской. Холодная, темная, с окном в колодец, на дне которого было множество кошек. По утрам из этого колодца раздавались звонки будильников, от которых непонятная тоска сжимала сердце. Была небольшая кухня, уставленная плитами и столами, с выходом на черный ход. По лестнице черного хода мы ходили на чердак, где весь дом сушил белье. Мы с братом поднимались на доски и пытались заглянуть в открытые круглые окошки под самой крышей. Это было царство голубей. Их воркование сопровождало развеску белья. А за дровами, чтобы топить нашу царицу-печь, мы спускались в подвал, где у каждой семьи был свой сарайчик, сколоченный из реек, с висячим замком. Там всегда селились кошки. Нередко зимой мы обнаруживали в деревянном ящике замерзшую кошачью семью. Я плакала.

Напротив сарайчиков в подвале были комнаты, в которых жили какие-то люди. И я очень пугалась их неожиданного появления. Однажды, когда я укладывала вязанку дров, у меня за спиной возник огромный мужик. «Девочка, – обратился он ко мне. – Что ж ты такие большие поленья берешь, они же гореть не будут. У тебя есть топор?» «Е-е-сть», – протянула я с ужасом. Он деловито порубил поленья, ловко обвязал их ремнем и водрузил мне на спину. «Спасибо», – сказала я и, шатаясь от страха, побрела по темному коридору к выходу на черную лестницу. Поход за дровами я воспринимала столь драматично, что нередко просто надевала шубу и учила уроки, расхаживая вокруг стола, чтобы не мерзнуть.

Велико было мое изумление, когда в 1994 году я увидела перед моим бывшим домом новый патио с вывеской „Vincent's Restaurant“. Я спустилась по ступенькам, прошла по залу. Ко мне подошел официант и очень любезно спросил, чем мне помочь. Я рассказала ему, что когда-то в 60-е годы жила в этом доме, что здесь находился мой сарай для дров и т.д. Он улыбнулся и предложил зайти на кухню и посмотреть. Сверкающая сталь, сияющая медь, горы белоснежной посуды. Слепительный рай. Мой подвал, мой ужас. Я поблагодарила его и ушла.

Недавно я прочла в проспекте ресторана, что в нем побывали Элтон Джон, Мстислав Ростропович, Пьер Карден, Хосе Каррерас, Пьер Ришар, Монтсерат Кабалье, Б.Б.Кинг, Пако Рабане, король Норвегии Харальд V и др.

БАБУШКА

Я всю жизнь занималась переводами с немецкого, в основном, юридического характера. Переводчик – особая профессия: для переводчика чужое важнее своего. Но вот однажды, слушая на ю-тубе лекции Мераба Мамардашвили, я задумалась над его словами: «Точка нашего труда есть то, что можем делать только мы».

А что же есть такого, что могу только я?

Ну, например, вспомнить мою бабушку. Я тут же засела за писание. Написала и отправила мой рассказик подруге в Филадельфию. Та пришла в восторг и решила прочесть его на литературном собрании у друга – редактора русскоязычного журнала «Побережье». Тот, не читая, сразу воспротивился, заявив, что это профессиональное

собрание и дружески-родственные отношения тут не причем. Но надо знать мою подругу, она настояла на своем и прочла мой рассказ. В перерыве к ней подошли несколько участников и просили прислать им рассказ.

В чем же дело? Как выяснилось из последовавшей переписки, этот рассказ вдруг напомнил им их бабушек, детство, то время...

* * *

Я учу уроки. Бабушка спрашивает: – Вот ты в школу ходишь, литературу изучаешь, а скажи, чем отличалось мировоззрение Толстого от Чехова? – Бабушка, ну, что за вопросы! – возмущаюсь я. – Нет, ты ответь! – Не знаю! – Толстой говорил, что человеку нужны два квадратных метра, а Чехов – что весь мир. – Ну, и кто, по-твоему, прав? – спрашиваю я нехотя. – Конечно, Чехов! – отвечает она. – Ого, так тебе нужен весь мир? – Да! – твердо отвечает бабушка.

* * *

Мама рассказывала, что во время войны по радио объявили, что возобновляется работа Московского педагогического института, в котором она училась до войны. Можно продолжать учиться, но только за плату. Как быть? Денег нет никаких, еле-еле на скудное пропитание. Но бабушка сказала маме решительно: «Будешь учиться! Продадим хлеб и соберем тебе деньги на учебу!». Так и сделали. Мама продавала свой хлеб у Казанского вокзала. Ели «дуранду» – жмых, который выбрасывал пивной завод, смешивали его с картофельными очистками и пекли блинчики. Потом плату отменили.

* * *

Бабушка живет зимой у нас в Риге. Ходит по комнате с палочкой, почти ничего не видит. И вдруг говорит нам: хочу в ваш Оперный театр сходить. Мы изумились: «Как, да зачем? Ты же почти ничего не видишь и не слышишь!» – «Ну и что ж, мне будет приятно в той атмосфере посидеть». Купили билеты на оперу, не помню уже какую. Нарядили бабушку в ее вечное темно-синее платье в цветочек, замотали в пуховые платки и медленно двинулись к трамваю. Преодолели трамвайные ступеньки, сугробы, пришли в театр. Сидели мы где-то на балконе. Я поглядывала на бабушку, весь спектакль она смотрела на сцену. – Ну, как, нравится? – Да! – Не помню уж, как мы добрались домой.

* * *

Ко мне пришел кавалер. Бабушка ходит вокруг стола с палочкой и хитро поглядывает на него. Когда он ушел, она мне говорит: «Этот тебе не пара!» – «Интересно, это почему же?» – возмущаюсь я. – «Курит дешевый табак. Простоват». – Ну, знаешь ли, и мы – не графья!» – «Графья – не графья, а тебя отец любил, а это повыше дворянского титула!».

* * *

Мама надеется, что нам дадут отдельную квартиру. Бабушка взбудоражена. Она не хочет, чтобы мы переезжали. – Почему? – Да вы ж меня, наверное, по дороге где-нибудь оставите! Кому нужна такая старуха.

Заходит молодой человек, как оказалось позднее, мой будущий муж. На сообщение о возможном переезде на новую квартиру он живо так протестует, смеясь: – Да зачем же вам квартира в новых домах? Посмотрите, какая у вас красота: барские комнаты, залы, дивная печь с Венерой, высокие потолки, окна в парк, сколько воздуха, прекрасная мастерская! Бабушка тут оживилась и, подсаживаясь к нему на диван, говорит: – Продолжайте, продолжайте, молодой человек! Вот и я им говорю!

После его ухода бабушка сказала: – Какой замечательный молодой человек! Прекрасно разбирается в квартирном вопросе.

* * *

В Загорске на престольные праздники у бабушки в доме останавливалась богомолка Анфиса. Я ее почти не видела: встанет чуть свет и уходит в Лавру, приходит поздно. – Не люблю я ее, – говорит мне бабушка. – Почему? – Ханжа! Дома у себя она ест всех поедом, а здесь грехи замаливает.

– А ты, бабушка, веришь в Бога? – Нет, не верю.

Прошло время, бабушка совсем состарилась, больше лежит. Я вижу у нее на запястье крестик на веревочке.

– Бабушка! Что это у тебя, крестик? Ты же не верующая! – Знаешь, внученька, я вот подумала: великие люди верили в Бога. Ученый Эйнштейн верил. А я кто? – ничего не знаю и не верю. Глупо как-то. Я лучше буду как они – верить.

Вероника Тихомирова

ОСТАЁТСЯ ДОБАВИТЬ НЕМНОГОЕ

Павел Тюрин в «Рижском альманахе», Владимир Ивин в «Православии в Латвии», учёный Алексей Дунаев в Интернете подробно рассказали о работе Павла Тихомирова по изданию, редактированию и распространению религиозной литературы. Владимир Френкель и Любовь Друктейне живо и эмоционально написали воспоминания о годах юности своего друга и об его отношении к друзьям. Мне остаётся добавить лишь немного.

Сам Павел был очень немногословным, терпеть не мог сплетен и пересудов. Как-то я на кухне пересказывала маме содержание очерка, напечатанного в «Новом мире». Павел вошёл и, не расслышав, что речь идёт о художественном произведении, спросил: «О ком ты там судачишь?»

Не был он и сентиментальным, не говорил красивых слов, он только как-то мне сказал:

«Ты за мной, как за каменной стеной!» И он был прав. Меня спрашивают: «Кем был для меня Павел?» На этот вопрос трудно ответить. В последние годы, наверное, правильнее всего было бы ответить: «Он был для меня всем!» Я всегда так нуждалась в поддержке.

В 1968 году я вернулась из Москвы в Ригу после недолгого и несчастного брака. Поступила на работу в библиотеку в Мангали. Там познакомилась с коллегой, образованной женщиной, прекрасно знающей литературу, не боявшейся публично опровергать или высмеивать официальную советскую пропаганду. Моя сотрудница была старше меня на 18 лет, но своей душевной молодостью превосходила и меня, и других своих молодых коллег. После развода я чувствовала себя очень одинокой и была счастлива дружбой с Б.А. Как-то она между делом упомянула, что к ним в гости иногда заходит молодой человек с бородой, верующий, православный; может быть, мне было бы интересно с ним познакомиться. Я была удивлена. Среди моих знакомых и знакомых моих подруг, во всём моём окружении верующих молодых людей не было. Даже дети друзей моих родителей полностью отошли от церкви. Потом Б.А. сказала, тоже мимоходом, что Павлик женился в

Ленинграде, но, что брак, к сожалению, оказался кратковременным и неудачным.

В июле 1975 года Б.А. приглашает меня в гости, говорит, что у неё есть ко мне дело. Оказалось, что Павел хочет познакомить меня со своими друзьями. До этого мы с ним несколько раз виделись, я чувствую к нему глубокое почтение. Даже его внешний облик свидетельствует о независимости характера, о мужестве. Теперь и девушки и юноши могут выйти на улицу одетыми самым экстравагантным образом, с любой причёской, не говоря уже о татуировках и пирсинге. Никто уже не обращает на это никакого внимания. В годы нашей молодости «общественность», с лёгкой руки официальной прессы, нередко косо смотрела, а то и осуждала не только чрезмерное увлечение западной модой, но и полное пренебрежение ею. Павел рассказывал, что в 60-е годы вид молодого человека с бородой был настолько необычен, что дети иногда хихикали и показывали на него пальцем, а старушки нередко громко возмущались. Павел не обижался, а удивлялся: многие из этих бабушек были родом из деревни, их отцы и деды, наверно, носили бороду.

Павел был уже студентом Политехнического института, на строительном факультете, когда его призвали в армию, в стройбат. Всю часть отправили в Ташкент восстанавливать город после землетрясения. Павел работал по специальности и принимал участие в важном и нужном деле.

На работе и знакомые часто спрашивали меня про моего мужа: «Почему он такой чёрный?», имея в виду, кто он по национальности. Он только улыбался этому любопытству. А происходил Павел из смешанной семьи: мать латышка, бабушка по отцу – немка с примесью ливской крови, бабушка по отцу – русский.

Что было в характере Павла самым главным? Мне кажется, тут можно вспомнить слова поэта о том, что «душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь». Главным для него был духовный рост души, её стремление к христианской жизни. Для некоторых его друзей, выросших в советских, нередко атеистически настроенных семьях, этот путь был куда трудней. Для иных был даже мучителен, государство подвергало их репрессиям, как, например, поэта Владимира Френкеля и художника Сандра Ригу. Но ведь Узкий Путь во всех его видах не может быть простым ни для кого. Не был он лёгким и для Павла: от

природы характер у него был сильным, независимым, несгибаемым, нетерпимым ко всему, что казалось ему несправедливостью. Даже в школьной характеристике учителя не забыли написать, что ученик «любит спорить со старшими». Но впоследствии его отношение как раз к старым людям было очень почтительным и добрым, он охотно им помогал.

Павел рассказывал мне, как в 16 лет по-настоящему пришёл к вере. Это произошло после знакомства с учёным – старообрядцем Иваном Никифоровичем Заволоко. До этого мальчик ходил в церковь из чувства долга, чтобы не обидеть своих родных, особенно – дедушку.

Большое влияние оказал на Павла священник отец Виктор Мамонтов. Борис Пастернак писал о художнике : «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой». Эти слова можно сказать и про Павла.

«Я живу так, словно советской власти нет», – любил говорить Павел.

В юности с ним произошел однажды такой случай. Он сидел в кафе, вдруг туда вбегает какая-то девушка и быстро говорит: «Милиция! Уходите! Сейчас будет обыск!» Многие поспешили удалиться, но Павел остался, решив, что он ничего плохого не делает и что бояться ему нечего. А ведь девушка была права. Милиционер заглянул в портфель «подозрительного» юноши, обнаружил там копии религиозной книги, конфисковал их. Так Павел оказался «на учёте» в «угловом доме». Тем не менее, он продолжал делать ксерокопии с религиозных книг, переплетать их и давать читать желающим. Об этом рассказал Владимир Александрович Ивин.

«Самый лучший отдых – это работа», – часто повторял Павел. И, действительно, чем бы он ни занимался, он всегда вкладывал в это дело всю свою душу. После окончания строительного факультета Павел стал работать в Академии, в Институте механики полимеров, и поступил в аспирантуру. «Мне даже неудобно об этом говорить, но я так люблю занятия наукой», – сказал он как-то. Павел Тюрин вспоминает, что его друг интересовался лишь работой, но это не так. Во время Перестройки, узнав, что Юрий Андреевич Бордуков решил заняться изданием православных книг, Павел пошёл к нему и попросил: «Примите меня к себе на работу». И вот тут-то, полностью посвятив себя, теперь уже официально, любимому делу, он постепенно стал настоящим трудоголиком. Стал приходить с работы поздно. Я

шутила, что он любит меня немного меньше, чем свои книги. И когда мой муж умер, мне долго продолжало казаться, что он ещё придёт. А раньше он любил классическую музыку, искусство, хорошие фильмы. Мы с ним ходили на концерты, в кино, на выставки в музеи.

В юности по просьбе Ивана Никифоровича Заволоко Павел совершил поездку в Забайкалье, в старообрядческую общину. Однажды вдруг отправился в Сухуми – поработать и посмотреть новый для него мир. Рассказывали, что под Сухуми в горах живут монахи.

Часто ездил в Москву, посещал там друзей и знакомых, бывал в музеях, особенно любил Музей имени Андрея Рублёва – Андроников монастырь.

Павел любил приглашать на Рождество и на свои именины друзей, всегда старался мне помочь их принять – покупал и приносил продукты, что в советское время иной раз было нелегко. Как-то перед Новым Годом начались перебои с мясом, появился анекдот, что Римский папа поблагодарил Брежнева за блестящую организацию поста. Одна знакомая сокрушалась: «Если не достану мяса, не будем праздновать Рождество». Павел возмутился: «Как это – не праздновать Рождество? Нет мяса? Тогда надо подать на стол просто чай с печеньем, и праздник – будет!» Павел любил хорошее застолье, но, если бы мы не смогли достать каких-нибудь продуктов, не делал бы из этого драму, и праздник всё равно бы состоялся. Два раза в год – на Рождество и на свои именины – Павел приглашал всех своих друзей и знакомых в гости. Мы жили тогда в Межапарке, и именинное застолье происходило в саду. Кроме одного раза, всегда погода была хорошей. Павел очень старался, чтобы все чувствовали себя хорошо, он помогал мне чистить картошку, а на Рождество варил по всем правилам глинтвейн. С садом связано ещё одно, сейчас кажущееся идиллическим, воспоминание. Надо собрать яблоки, а яблоня высокая и старая. Но муж смело лезет на дерево, а за ним – оба наших кота – рыжий и бежевый, и вся тройка сидит наверху.

Павел любил красоту – прекрасно разбирался в искусстве, знал его историю, очень любил иконопись, часто ходил на концерты классической музыки. Он давал мне читать книги об иконах и средневековом искусстве, старался их покупать, что в те годы было нелегко. Первый год нашей совместной жизни я наслаждалась этим миром красоты, ища в книжном шкафу и разглядывая эти альбомы. Я работала

в Государственной библиотеке Латвии, и Павел нередко напоминал мне, что я что-то давно не приносила хотя бы на вечер красивую книгу или энциклопедию по искусству. Это уже потом, работая в Филокалии, муж стал говорить мне, что у него самого в магазине теперь много красивых книг и больше с такими просьбами не обращался. В одно из самых первых свиданий мне нужно было пойти на базар, должны были прийти гости. К моему удивлению, Павел вызвался меня проводить и сказал, что летний базар с его обилием овощей, фруктов и цветов может доставить большое эстетическое удовольствие.

Знания Павла в области истории религии, искусства были глубокими и обширными. Однажды ко мне в библиотеку пришли читатели, искавшие изображение мало известного святого, в наших энциклопедиях и справочниках его не было. Я позвонила мужу на работу, он сразу сказал, где можно это изображение найти, предложил нашим читателям зайти к нему и обещал сделать для них копию. И это был далеко не единственный случай такой помощи в поисках какой-нибудь редкости для читателей.

Казалось, у Павла неистощимый запас сил и желания делать добро, жить, работать, любить. Как-то он стал ежедневно навещать в больнице одного своего знакомого – человека старшего поколения –, который лежал в больнице, не вставая с постели. У его жены было больное сердце, и она помочь не могла. Никто из соседей больного по палате не верил, что Павел не является его близким родственником. Больной был в тяжёлом состоянии, и его младший друг приходил домой угнетённым; потом вижу – муж повеселел: больной неожиданно встал, начал сам ходить и полноценно прожил ещё несколько лет.

Долгие годы Павел заботился об бывшем артисте, ставшем инвалидом после инсульта. Это только отдельные примеры. Многие люди нередко искали у Павла как физической помощи, так и моральной поддержки, и он, если мог, всегда помогал.

Павел ухаживал за Иваном Никифоровичем Заволоко, известным в Риге учёным – старообрядцем в последние дни его жизни. Потом муж мне с огорчением говорил о допущенных им по неопытности ошибках и вдруг добавил: «Вот, если ты заболеешь, я буду знать, как за тобой правильно ухаживать».

Конечно, эти слова были сказаны очень давно, но я всегда верила, что он будет со мной до самого конца. Даже во время его последней

болезни, когда после Рождества его на неделю второй раз положили в больницу, и врачам удалось несколько улучшить его самочувствие, я, навещая мужа, чувствовала, что ему легче, что у него на душе мир, и испытывала чувство тихой, светлой радости и робкой надежды, что он какое-то время ещё побудет со мной. Мы ехали из больницы, Павел отказался взять такси, сказал, что может идти пешком. Был час пик, и троллейбус был переполнен. Вдруг освободилось одно место, я сказала ему: «Садись, ты же из больницы», но он категорически отказался, предложил сесть мне, только поставил портфель мне на колени.

Павел знал о своём диагнозе – раке лёгких, силы слабели, но большой стремился продолжать заниматься любимым делом. Спасибо Сергею Бордукову, взявшемуся подвозить на машине своего сотрудника к месту работы. В субботу 21 января 2012 года Павел, чувствуя большую слабость, вызвал скорую помощь. В больнице мой муж не проявлял раздражительности и нервности, как это нередко бывает с сильными и энергичными людьми, ставшими вдруг беспомощными и слабыми. 23 января Павла перенесли из одной палаты в другую уже на носилках. Я помогала переносить вещи. Но ум и память больного оставались ясными. Вдруг Павел напомнил: «Не забудь завтра пойти на лекцию»: один наш знакомый должен был рассказывать об итальянском искусстве. Больному дали кислородную маску. Прощальные слова его, обращённые ко мне, были: «А теперь иди отдыхать».

ВЕРХОМ НА ВРЕМЕНИ

Край мой родной – Балахчин. Если взглянешь на карту, где сходятся Западная Сибирь с Восточной, увидишь, что это населенный пункт с населением в несколько десятков тысяч человек. Можно сказать, что это глушь, какой-то закоулок меж гор и тайгой. Зато какой закоулок! Это юг Красноярского края, отроги Алтайских гор, Саяны.

Закоулок этот богат кварцем. А где кварц, там и золото. Балахчин – рудник. Живописное место! Смотрю в словарь Даля – может, открою суть названия рудника. Балас – камень, шпинель; балахна – ворота; балахтать – выливать; чин – устроенный порядок; балаган – сарай, шалаш. Ясно: Балахчин – ворота в подземельное царство камней (шпинели); порядок устроен так – добывают золото, промывают и отправляют чистое золото куда-то по назначению.

А кто здесь живет? «Золотопромышленники», их семьи...

Въезжаем в долину. Долина – это не теснина между гор, не ущелье; это пространство между пологой Лысой горой (гора покрыта только травой, ни кустика, ни деревца) и тайгой. В центре долины – Андат, берега этой речки в зарослях жимолости, красной смородины. Здесь и моют золото. А напротив – тайга. Вся левая часть Енисея – тайга, таинственный мир. Каких только легенд не сочиняли люди о ней! Заблудиться легко: кедры, пихты заслоняют небо; идешь по тропинке, вдруг она приводит в овраг, заросший чертополохом, сорной травой – дальше нет пути; ищешь тропку-другую – попадаешь в еще более страшную чащобу: кедры завалены трухлявыми колодами, пнями, хворостом; «одни только перелетные птицы знают, где кончается тайга», как писал А.П.Чехов.

Но мы ходили в тайгу. Зачем? О! Тайга богата кедровыми шишками! На рынке у нас сейчас самые дорогие орехи – кедровые – 14 латов килограмм. Старшие ребята влезают на кедр (а бывают кедры в два обхвата), устраиваются покрепче на крепком суку и трясут палкой ветки – шишки падают. А мы, младшие, собираем их, складываем в мешок. Дома лакомимся: шишки раскрывали, орешки вынимали, слегка поджаривали – вкусно! А еще вкуснее, если шишки сварить. Шишка, ароматная от кедровой смолы, разваливается в неге, бери

орешки, они мягкие, вкусные! Мой кузен Вениамин был мастак лазать на кедр. И в 70 лет давал фору молодым! В школе у нас отличникам и хорошистам каждый день давали бесплатно сладкую булочку. Брат Вениамин получал ее не раз – он умел не только шишки сбивать, но и хорошо учиться.

* * *

Вот в этой-то глуши еще в 18 веке началось освоение недр. Здесь были сланцы, кварцы, окремненные порфириты (алтайские яшмы). Кварцы применялись и применяются в промышленности, в быту. Кварцы ценились и в культовых предметах, в амулетах. Однажды прочитала в старинном русском лечебнике запись: «Аметист мысли лихие удаляет, отгоняет пьянство, окорм гасит, добрым разумом делает, не допускает того, кто его носит, в памяти отходить». И как же не добывать кварцы!

В 20-30-ых гг. прошлого века в этих местах обнаружили золото. Там, где для глаза кончается тайга, – горы, а ближе к населенному пункту – развалины гор, возможно, когда-то здесь была руда, кварцы. Сюда мы ходили за малиной. Сколько ее! Сладкой, крупной! А там, высоко – шла работа – добывали золото. Работали мужчины, женщины; большинство из них – ссыльные. Они «рыли золото в горах», промывали в реке Андат; вечером возвращались в бараки на улице Таежной (у самой тайги), подальше от центра. Одеты в брезентовые одежды, уставшие, хмурые, шли молча. Днем их никто не видел. Мой папа до войны работал на шахте мастером (назывался десятником); в 1936 году он был награжден серебряными часами (карманными, с цепочкой). На оборотной стороне гравировка: «Стахановцу Василию Семеновичу Стуколову. 1936 г.». В районной газете писали о нем и о стахановках, выполнивших норму добычи руды на 200% – Курдюковой Анне Владимировне и Авдеевой Клавдии. После войны мужчин на шахтах было мало; про иных говорили – власовцы, а работниц называли шахтерками. Завальщицы, обработчицы, пока они шли домой (если работали ночью, возвращались домой рано утром), робы на них зимой застывали; на ногах у них были ботинки на деревянной подошве, называли их колодками.

Во время войны работали на отвалах. Ближе к руднику была обогатительная фабрика, здесь-то добыча из шахт превращалась в слитки

золота. При обработке руды применялась какая-то химия, работа считалась вредной, через десять лет такой работы – на пенсию. Руду доставляли на фабрику в вагонетках.

Охранником на шахте был некто Баранов, нашли у него дома золото, получил он за это 11 лет (в 1945 г.). А золото у нас можно было запросто купить в магазине «Золотоскупка», что-то вроде ювелирторга.

* * *

Речка Андат – приток реки Чулым, впадающей в Обь. Мы, малышня, купались в ней. Глубина – по пояс, но мы ныряли с бревна-мостики. Речка была желтая, «золотая», дно песчаное; мы искали на дне золотинки! Не находили... А берег землистый, осенью и весной – грязь, надо иметь сапоги резиновые или галоши. К зиме эта узкая мелкая речка терялась уже за рудником, так что не видно ни конца, ни края! Раздолье, простор! Катись до океана... Мы привязывали коньки (были снегурки – с загнутым концом впереди, и ледяные – прямые) к валенкам и катались; катимся, катимся, веселые, не думаем, что надо возвращаться... Но вот руки ооченели, сил уже нет, добираемся кое-как, руки – в воду – о, как больно! Однажды вернулись, дом на замке; соседский мальчишка Витька Мажугин (из большой зажиточной семьи, у них дом с забором был) говорит мне – лизни замок! – Лизнула... Подняла рев! Кожа содрана с языка... Несколько дней было трудно есть.

Машин на руднике мы не видели. Впервые увидели, когда молодых ребят, мужчин увозили на войну в 1941 году. А так – всё на лошадях, на них привозили из леса, который был далеко, дрова, сено. Вспоминаю, как мы, ученики 3-го класса, складывали в лесу напиленные, нарубленные дрова в сани – рабочих не было. Грузные лошади шли медленно. Летом можно было увидеть, как парень лихой едет верхом, и, чтоб привлечь к себе внимание, гонит лошадь вскачь. Ему кричали: «А можешь во весь опор?» – «Могу!» И гнал лошадь полным галопом; говорили – он галопирует! У соседа Михаила Титова была лошадь. Гордо говорил: моя гнедая! (Гнедая – то есть темно-рыжая, еще темнее – грива и хвост). У него были розвальни. Его старший сын брал эти розвальни, нас человек шесть шли на Динамитную гору (говорили, что там производят динамит; возможно, динамит нужен на прииске). И так, парень садился впереди – рулил, мы усаживались, крепко

держась, иначе на вираже выпадешь; катимся вниз долго-долго, до самой ледяной реки Андат! Весело, страшно, азартно!

Достопримечательный был дом – Квасоварка (так мы говорили; конечно, было и официальное название), там варили квас, что-то еще; нас угощали сладкими сухарями, мягкими (их называли как-то, квасники что-ли). Была еще артель, где делали горшки из глины; мы тоже во дворе делали из кирпичей печку, жгли палочки и обжигали свои глиняные вазочки, чашки. Трудоемкая была работа!

Еще в памяти – небольшой домик-теремок, какие рисуют в книжках: резные наличники на окнах, над дверью – резное украшение с коньком – он «зазывал» к себе. Была там только однажды. Сидела за высоким столом, ела мороженое из вазочки красивой ложечкой. Такого десерта не ела до 60-х годов!

Все постройки – деревянные. Летом бегали босиком по тротуарам, играли в классики, сколько заноз впивалось в ступню!

В Балахчине был у нас большой универмаг, два магазина – хлебный и бакалейный, хлебопекарня, колбасная, квасоварка, о которой я уже говорила. Была больница, большая, около нее – в небольшом домике – прачечная: стирали, шили, чинили белье; рядом – склад для продуктов. В больнице было четыре хирурга (на один-то рудник)! Один из них – Генрих Иванович, ссыльный, жил с 14-15-летней дочкой Луизой, жены не было, в школу дочка не ходила (когда-то, при каких-то обстоятельствах, видно, лишилась рассудка). Как мне нравился этот Генрих Иванович! – солидный, рослый, так аккуратно одетый...

Одна из моих двоюродных сестер сильно заикалась; совершенно вылечила ее от этого недуга ссыльная, откуда-то из Прибалтики, работала в больнице. Среди ссыльных были у нас не только прибалты, но и чеченцы, калмыки...

Недалеко от больницы – двухэтажная школа, десятилетка; чуть подальше – начальная школа, еще одна начальная – около реки Андат. В центре – ресторан, в фойе его – шкафы с посудой. Я ходила сюда, смотреть посуду: тарелки, чашки красивые, одно большое блюдо необычайной красоты!

На руднике было две библиотеки: одна в клубе, другая в школе. Клуб большой – на 450 мест; сцена полукруглая, оркестровая яма. Когда старшеклассники ставили «Сказку о рыбаке и рыбке» – эта яма была морем, в котором плавала Золотая рыбка. Старика в этой

пьесе играла моя двоюродная сестра Эмилия. В газете писали об этом спектакле, о Старике говорили, что эта девочка будет артисткой. После школы поехала Эмилия в Минусинск – учиться на артистку в Культпросветшколе; но закончила Педагогический институт, работала учителем истории.

В клубе выступали приезжие артисты, приезжал даже Карандаш. Там мы впервые увидели лилипутов, удивил нас их голос. Кино было редко. Проводились в клубе праздничные мероприятия, концерты учеников... Посвящены они были литературным событиям: 145 лет со дня рождения А.С.Пушкина, 130-летие М.Ю. Лермонтова, поэтические вечера. Десятиклассники ездили со своими концертами по районным клубам, на их концерты продавали билеты... На эти заработанные деньги артистов кормили обедом – в ресторане!

* * *

Моя обязанность – ходить за хлебом. Однажды стою в очереди, а мальчишка плюнул на меня. Я растерялась, он выхватил хлебные карточки! Убежал. Мне было так ужасно от этого! Да и карточки жалко. Но мама сказала, что карточки только на один день, не на месяц, не плачь.

Мама иногда говорила: «Анька, тебя посылать за чем-нибудь, как за смертью: то не дождешься тебя, то тебя собака кусает, то на тебя плюют. Ты посмотри на Галю: все быстро делает – раз-раз – пол уже вымыт!» – «А я зато углы под кроватью все чищу. И золу из подувавала выношу на огород, сама говорила – это удобрение!»

Летом мыла узкий тротуар от дома до баньки; обычно это делала по субботам: мама придет с работы, увидит – ай, молодец! – скажет.

И можно идти в баню и из нее босиком, если корова не успеет заляпать тротуар своими «лепешками». От этого тротуара, от хвалы – так сладко на сердце! Работали и играли: лапта – самая любимая игра; а если играли в войну – меня старшие брали в качестве разведчика – маленькая и быстро бегала. Вот зимой ползешь – вдруг в лоб замерзший навозный комок – больно, но ползешь... Сестра Галя – за Махно, моя подружка – ее есаул. В сарае шли «допросы»... Летом играли в тимуровскую команду: под одной крышей привязывали веревку, на нее подвешивали металлические банки (они у нас были из-под консервов, которые во время войны присылали американцы).

Дозорный созывал всех, колотя по этим банкам палкой. На звон мы сбегались!

Лет в шесть я устроила дома лечебницу: под стол, закрытый со всех сторон скатертью, приходили «больные».

– Спина болит? Ложись!

Сняв кофточку, майку, «пациенты» ложились на живот. Банки (они у нас были) смазывала чернилами, обжигала спичкой, клала на спину, прикрывала.

– Все, лежи!

Приходили лечиться 2-3 подружки. Однажды мама одной из них говорит моей маме:

– Тася, твоя Анька все майки перепачкала чернилами, ставит банки, перепачкала так, что не отстираешь!

Закончилось мое врачевание. А стирали тогда без мыла – не было его – золой древесной. Чисто-чисто стирали!

Почти у каждого дома был огород. Росли там – лук, чеснок, репа, морковь... А когда цветет картошка – чудная картина! Цветочки белые, розовые, бледно-сиреневые. Говорили – цветочки белые – и картошка будет белая, рассыпчатая! А сколько черемухи! – «И весь в черемухе овраг!» В Троицу цветущей черемухой украшали какой-нибудь уголок в комнате – много ее нельзя – сильный запах, голова может заболеть. А сколько цветов! Ирисы, колокольчики... «Колокольчики мои, цветики степные! Что смотрите на меня, темно-голубые?» У нас – не степь, но колокольчики были. Здесь и Иван-чай, белоголовник, зверобой – их заваривали вместо чая; а из валерианы заварку пили: чашку такого чая-настоя попьешь полгода-год – и надолго успокоишься! А саранки! Лепестки, как у лилии, с сильным ароматом; в одном цветке несколько оттенков: желтоватый, фиолетовый, красноватый... – «И цвета яркого саранки, мгновенно сникшие в руках».

Почему-то никак не использовали лопухи, а их – тьма! Говорят, полезны для здоровья. В конце мая на Лысой горе рвали кукушкины слезки, кукушкины сапожки и делали из них ДУХИ. Превращали цветочки в пюре, заливали водой, наполняли пузырьки, настаивали дня четыре – и готовы ДУХИ! А жимолость! Это кислая ягода фиолетового цвета. Надкусишь слегка ее – и крась губы! А если иголкой дырочку проколоть, нанизать на нитку – получатся бусы – настоящий аметист!

*Огнем земля полным полна...
Н.Рубцов.*

Началась война. Великая Отечественная. В войну пострадала каждая семья. Прощаясь с родными, все думали: мы вас встретим. Утомленных, нецелых – любых, только б не пустота похоронных. Не предчувствия их!

У мамы было пять братьев – все ушли на фронт. Четверо не вернулись. Один дядя Леня вернулся, раненный, контуженный. А было ему тридцать лет. Всю войну прошел рядом с другом Афоней; вернулись они – и за работу. Как дядя Леня работал! Как у Некрасова Яким Нагой – «он до смерти работает, До полусмерти пьет». Родные решили его женить. Была на руднике 25-летняя девушка Надя, некрасивая, но с большими черными глазами, мастерица-портниха. Без любви женился дядя Леня, пора. Всю жизнь называл ее венчалочкой: надо идти домой – венчалочка ждет к ужину.

Работал дядя Леня с Афоней на лесоповале. Неделя в лесу, в выходной – баня. После бани – выпивали и шли драться. На улице Таежной жили в бараках старатели-ссылные, в большинстве – «враги народа»... С ними-то и шла кровопролитная драка. – «А, враги! Мы с фашистами воевали, а вы здесь...», – и – весь запас слов... Побеждали обычно те, барачные. Возвращался дядя Леня домой после бани в грязи, в крови, возбужденный, недовольный... дети в испуге разбегались, как от черта – так был страшен! В 62 года настигла беда. Вышел на пенсию – отдыхай, труженик-воин! Попросили его научить молодого парнишку управлять трактором. Дня через два навестил всех родных, пошел помогать. Что-то не то нажал тот парень – и трактор раздавил отважного солдата, прошедшего всю войну... Афоня плакал: «Всю войну с ним! Помогал хирургу собирать косточки моего раненого друга, а теперь – и собрать нечего».

* * *

Запомнился рудник ужасной картиной. В 1944 году завезли и оставили на улице около речки Андат калмыков. В этом году кого только не лишали крова!

В «Истории КПСС» 1960 года издания писали: «С начала 1930 по конец 1932 г. выселено 240 757 кулацких семей». Но, кажется, правильнее было бы: раскулачено около десяти миллионов, брошено в

тюрьмы, выслано на голодную смерть – мужчин, женщин, стариков и детей.

Приходила к нам одна калмычка, звали ее Маруся, просила есть. Когда я была одна дома, давала ей что-нибудь из еды. Однажды на плите стояла кастрюлька с картошкой-пюре для меня. Говорю: «Ешь, Маруся». С жадностью ела она этот теплый мой завтрак, вдруг засмеялась. Впервые увидела ее веселой. Оказывается, ложкой она выскребла «сало», а это была ватка, которой мама заткнула дырочку на дне кастрюльки. Несколько дней приходила, один раз попросила что-нибудь из одежды.

– Смотри, Маруся, это мое пальто, это сестры, это... Нечего тебе дать. Спрошу у мамы.

– Нет, не спрашивай. Спасибо за картошку!

Ничего не клянчила, благодарила за кашу, за лепешку. Неожиданно ее визиты закончились. Мама спросила:

– К тебе ходит калмычка?

– Да. Она хорошая.

– Больше не пускай!

Маруся снова пришла. Дала ей картошку и сказала:

– Больше не приходи, мама не разрешает.

– Дай посидеть у тебя!

Я дала ей еще картошки и, кажется, чулки.

– Теперь уходи, меня будут ругать!

Кое-как ушла. А мама, придя с работы, сердито сказала:

– Опять она была? Соседи мне сказали, что была! Смотри, черномазая, не пускай ее!

Но пришла Маруся опять! Так страшно было – увидят, наверное, соседи. Дала ей картошку, которая была на плите, и говорю:

– Быстрее уходи!

Наверное, увидела мой страх, больше не приходила. А вскоре все калмыки исчезли, была уже осень, должно быть, кто-то на улице погиб от голода, холода, кого-то куда-то дальше отправили... Давно в Москве увидела около гостиницы поэта калмыцкого Давида Кугультинова. По телевизору он говорил, что мальчиком был в ссылке с матерью... И невольно подумала тогда, может, та Маруся – его мать?..

Да, это было в 1944 году. Мама, конечно, с сочувствием относилась к этим несчастным людям. Но помочь невозможно: сосланным было

запрещено помогать. Рудник не так велик, чтобы не заметить тех, кто помогает. И в памяти маминой были лихие времена, не обошедшие ее семью. После восстания в Польше 1863 года началась расправа с мятежниками. Среди ссыльных был Иннокентий Высоцкий, мой прадедушка. В сибирском селе было пять польских дворов, по-хозяйски устроенных. Женился Иннокентий на Марфе Дмитриевне. Она – любимая мамина бабушка – по рассказам мамы, – тоже была из семьи ссыльных. Как ее семья мордовская оказалась в Сибири? О досибирской жизни Марфы Дмитриевны, жаль, ничего не знаю.

Купили коня, построили дом. Иннокентий сам украшал дом: резные наличники на окнах, дверях, крылечко... дома у них, рассказывала мама, чай пили из чашек, непременно с блюдами. Был у них один сын – Василий, мой дедушка. Иннокентий умер рано – в сорок три года. Все хозяйство теперь вел сын. В 1905 году он женился на Александре Борисовне Заплюшкиной, любили друг друга, семья была большая, дружная: десять детей (двое умерли в детстве): пять мальчиков и три девочки. С Первой мировой войны Василий Иннокентьевич Высоцкий, мой дедушка, вернулся с Георгиевской медалью. Эту медаль дедушкину, мамино свидетельство с портретом царя – об окончании 4-го класса, добро семейное – забрали при раскулачивании. Дедушку с бабушкой, их сыновей – Мефодия и Геннадия выслали «из Сибири»... «Сколь изведено горя и трат...» Сохранилось письмо от 22 августа 1931 года, написанное на листочке карандашом. Александра Борисовна пишет дочери: «Тася, Фотя начал писать письмо, но не мог – заплакал; хочет убежать от неволи, но куда убежишь – везде тайга. Тася, присмотри за младшими. Может, удастся с кем-нибудь переслать нам одежду – замерзаем в тайге, недоедаем, заживо помираем». Вернулась она одна, больная, и вскоре умерла, весной 1936 года. Позднее вернулись сыновья с отцом. А тут и 22 июня 1941 год. В первые месяцы войны погибли Мефодий с Геннадием. Где они?.. «Мы, где корни слепые Ищут корма во тьме». В 1944 в октябре в Карелии погиб мой дядя Иван Васильевич Высоцкий, отец Валентины и Эмили, Вениамина. Мне удалось разыскать его через Военный архив в г. Подольске, спасибо сотрудникам архива. Лежит Иван Васильевич на Братском кладбище в г. Никель. В 1988 году его навестила Эмилия. На памятнике написано: «И.В.Высоцкий погиб, сражаясь за город Никель». Кладбище в отличном состоянии!

В мае 1945 года погиб самый младший, 19-летний Аркадий Высоцкий. Вернулся один – Леонид.

Очень смутно вспоминаю Геннадия. Он мне представлялся красивым: аккуратно одет, кудрявый, голубые глаза. Однажды спросила у мамы:

– Ни у кого из родных нет кудрявых волос, только у него.

Мама засмеялась:

– Перед войной он год-полтора работал на радио; наряжался, завивку сделал. Тогда модно было – кто белился, кто сурмился.

Однажды пришел к нам, а я была «занята»; он говорит: «Анютка, что такое, как приду, ты в углу или на горшке». Может, от стеснения это и запомнилось.

В Балахчино мы во время войны не голодали: у всех была картошка, овощи, американские консервы. Вероятно, потому, что Балахчин – рудник, золотодобывающий, не захолюсь! Вот после войны, в 1947 – 1948 годах, было голодно. Мы жили в городе, картошки-спасительницы нет. Хлеба, муки – нет. Мама из отрубей делает лепешки – невозможно есть: в десны вонзалась шелуха.

«Жилось мне весело и шибко»

Б.Ахмадулина

Рудник. Он всегда перед глазами: тайга, горы, цветы, малина там, где вагонетки катятся с золотом, и наша «золотая» речка... Нам, детям, в те времена жилось вполне благополучно: нет хлеба, масла, пряников – есть картошка, есть овощи! А у кого корова – прекрасно. Для коровы нужно сено зимой. Вспоминаю (мне лет пять, шесть) – мама с папой ушли на покос. Мы с сестрой решили приготовить пироги морковные. Замесили тесто, натерли сырую морковь, сделали пироги и сварили их. Есть невозможно: в клейкой массе – сырая морковь. Выкинули в колодец – чтоб не видели! Не помню реакцию мамы. Видимо, объяснила, как надо делать, а сестре было внушение! – она же старшая. Карточки продуктовые отменили в 1948 году. Тогда по радио говорили о благополучии, о расцвете, о благосостоянии... Сейчас приходят на память стихи Н. Коржавина: «А страна моя родная Вот уже который год Расцветает, расцветает И никак не расцветет».

На руднике была Динамитная гора, там сажали картошку. В июне мы с сестрой ходили туда окучивать молодые кустики еще не начинавшей

цвести картошки. С собой брали два куса колотого сахара, тогда не было рафинада. Так вот, идем мы с сахаром, у обеих по куску. С горы течет звонкий прозрачный ручей. Садимся, обмакиваем кусок в воду, сосем, вкусно! Часть куса оставляем на обратный путь. Сладше того сахара никогда больше не было!

До школы часто оставалась дома с бабушкой, Марьей Сафроновой. Она вырастила одна (муж рано умер) пятерых детей, из них один – мой папа. Зарабатывала она ручной работой: вязала, вышивала... В Балахчине многие женщины этим рукоделием занимались: украшали одежду, скатерти, занавески...

Бабушка не всегда была словоохотлива, но иногда, зимой, когда она лежит на печи, как она говорила, греет «косточки», тут и спрашивай о чем-нибудь. Не помню, чтобы сказки рассказывала, но на вопросы отвечала. Спрашиваю:

– А почему мой папа хромым?

– Маленький был. Залез на лошадь, она дернулась бежать, он и свалился, ногу поломал; а срослась кость, как ей было угодно. Вот, не носись, как та лошадь, слушай, что тебе говорю.

– А твой папа где?

– Давно уж умер.

– А тебя около него похоронят?

– Нет, он далеко отсюда.

– Я тебе принесу кукушкины слезки, незабудки. Слезки хорошо пахнут.

– Спасибо. Незабудки хорошие цветочки.

– Бабушка, а что такое – ни пяди назад? Мне читала Галя – на стене клуба так написано.

– Ну, пядь – это длина такая. Растяни кисть руки, так вот – длина от большого пальца до указательного (показывает на моей руке) это и есть пядь. А «ни пяди назад» – это значит, что солдаты наши не должны отступать даже настолько (и опять показывает на моей руке).

– А почему ты сказала, что враг лютый? Лютый это какой?

– Какой, какой, заладила. Злой!

– А ты сейчас тоже лютая?

– Господи, ну что ты мне покоя не даешь?

– А еще ты мне говорила: полотенце было в сажень. В сажень – это как?

– Никак. Бывало, хочешь купить материю на платье, говоришь приказчику: отрежь мне три сажени и чтоб ширина была в один локоть. Смотри: сажень вот такая (растягивает мои руки в стороны), а локоть – длина руки до локтя.

– А руки бывают разные.

– Ничего. Эти меры были самые надежные. Хватит, дай отдохнуть!

Над ее кроватью висела икона Казанской Богоматери. Молилась бабушка каждый день: «Господи, отпусти вся грехи наши. Пощади нас, Пресвятая Богородица, избави нас от беды. Иисус Христос, приде на землю и учи люди истине и благодати».

Я очень виновата перед бабушкой. Пошла в школу. Учительница Мария Васильевна, первая, добрая, говорит на уроке:

– Бога нет!

Как ей не верить! Пришла домой, встала на бабушкину кровать, перед иконой и говорю:

– Нет твоего Бога! Тьфу!

– Ой, Анька, накажет тебя Бог! Бесстыдница, срамница!

И заплакала.

Правильно, что заплакала: знала, что так и будет. В 1942 году ее не стало. А потом мы уехали. Никто не приносит ей кукушкиных слезок... А икона теперь у меня. Ей более ста лет.

Во время войны, мы – ученики, дома или на уроке вышивали, вязали носки, варежки... У меня был сшит кисет; на нем вышила нитками-мулине: «Солдату! Стреляй метко! Аня». Наши эти подарки собирали и отправляли на фронт. О! Это было для нас важное и гордое дело! Мы помогали солдатам! У кого находился табак, так его – в кисет; вот солдат будет рад! А как радовали мы свой быт? Мережка, вышивка... Мережку делали белыми и цветными нитками. Простая мережка – столбик – дело простое – для носовых платочков; а мережка «панка» или «паучок» – труднее. Еще сложнее – ришелье. Делали мы его на швейной машинке. У нас была «Зингер», на ней рисунок на ткани обшивали особнным швом. Гладью вышивали ночные сорочки, скатерти. Середина скатерти – гладь, а края подшивали мережкой «столбик» или любой другой. Мережку хорошо делать на полотняных тканях: нити в них легко вытянуть. У нас с сестрой были полотняные платья с отделкой из белых ниток – ришелье. Очень красивые были полотенца – для праздничных дней. На полотенцах вышивали дерев-

ца, веточки (с давних времен так принято было). Вот и у Есенина: «Каждое утро, встав от сна, мы омываем лицо своё водою. Вода есть символ очищения и крещения во имя нового дня. Вытирая лицо своё о холст с изображением древа, наш народ немо говорит о том, что он не забыл тайну древних отцов вытираться листвою, что он помнит себя семенем надмирного древа и, прибегая под покров ветвей его, окунаясь лицом в полотенце, он как бы хочет отпечатать на щеках своих хоть малую ветвь его, чтоб, подобно древу, он мог осыпать с себя шишки слов и дум и струить от ветвей-рук тень-добродетель...»

А цветы – для красоты. После трудового дня лечь в постель, вышитую цветами, блаженство, отдых! И отсюда видно «поток рожденье».

Женские украшения – колье, броши... – я видела только в кино. У мамы были красивые сапожки с высокой шнуровкой, до колен, туфли на каблуках (пока ее нет дома – мерила их, ходила по комнате потихоньку – большие для меня, и думала, что отломлю каблук). Говорили, что эта красивая обувь, пальто... – со времен НЭПа. К сожалению, все добро сгорело во время пожара. Сохранились только папины именные серебряные часы, сейчас они у моей племянницы Лены, у нее не пропадут; лежат как память. Нарядными были платья из маркетизета – очень тонкая ткань. Часто вспоминаю маму в маркетизетовом платье – на черном фоне горошины желтого, красного и еще какого-то цвета. Как оно мне нравилось! Не знаю, есть ли сейчас такая ткань. А блузки шили из батиста – тоже очень тонкая ткань; пуговицы – перламутровые, переливались блеском; сейчас таких не вижу. А какие делали кружева! Их вшивали в наволочки, пришивали к простыням... У мужчин дорогими и модными были хромовые сапоги, пальто из бобринской ткани...

Работали всегда много. А в субботу, придя с работы, все перебивали и чистили, особенно перед Пасхой. Утром на Пасху проснешься – в комнате на окнах праздничные тюлевые занавески, из кухни – аромат выпечки – шанежки (плоские булочки), они дешевле обходились: смазанные сливками, зарумяненные в русской печи, а еще – пирожки с говяжьим сердцем, легкими, почками... А однажды во время войны папа привез (он служил в тылу – хромым на фронт не брали) в берестяном теске мед. Мы его ели впервые. Пройдут десятилетия и можно будет запросто купить мед. Когда папа вышел на пенсию, он

завел пасеку, нам высылал в Ригу.

Пасха широко не праздновалась, но яйца красили все, на Пасху красные, а на Троицу – желтые, их красили в молодой березовой листве. Летом был веселый праздник – день Ивана Купала. Что творилось на улицах! Невозможно пройти сухим – обязательно обольют, из любой посуды, хоть из ведра, хоть из тазака... И мокро и смешно!

Праздновали у нас и святки-колядки с Рождества до Крещения. Взрослые и дети в смешных нарядах, с разукрашенными лицами ходили по домам с колядками, плясками. Их обязательно угощали чем-нибудь. Было очень весело!

В зимнее время можно было увидеть в выходной день или на праздник парочку, мчавшуюся в кошевке, это такие широкие санирозвальни, сиденье на двоих. Были дорогие кошевки и подшевле. Дорогие – с резьбой по дереву, иногда обшитые кожей. На руднике нечасто можно было видеть кошеву. Помню – играем мы зимой на улице. Вдруг видим – мчится лошадь, впряженная в кошеву. Сидят – Анна Ивановна, врач, весьма миловидная молодая женщина, и какой-то мужчина. Мчатся они по ул. Ленина, которую не объедешь ни с какой стороны. Прихожу домой и рассказываю маме. А мама: «Доиграется Анна Ивановна, ох, доиграется!» – «Как доиграется?» – «Просто! Добрая слава бежит, а худая летит». – «Ну и что?» – «А то, что не надо ездить с чужими...»

Мамины слова оправдались. Летом, опять в кошевке (на колесах теперь) мчится как птица Анна Ивановна, и с кем? С моим папой! Бегу домой: «Мама-мама, папа с Ней едет!» Что было – не знаю, но, видно, А.И. доигралась...

* * *

Мы в Сибири, война далеко. После уроков играли в войну. Снежные комья – оружие, «ядра» для ближнего боя. А чтобы далеко стрелять – делали рогатки. Берешь хороший сучок, прикрепляешь к двум его концам резинку, в центр резинки кладешь «ядро» (что-то твердое, но не камень), натягиваешь и отпускаешь. Делали и стрелы, но с ними стояли в охране, для устрашения. Почти как в Ипатьевской летописи XVI века: «палицами и камением бяхуся». А главное развлечение – коньки. Однажды поспорили: кто может скатиться с крутой горки с завязанными глазами. Думалось мне, что это просто, покатила. А

горка кончается под углом резко – и коньки воткнулись в снег. Перелом руки, шина, писала левой рукой. Да и это тоже было интересно. А летом – манящим и опасным было развлечение – качели. Опасно потому, что при сильном раскачивании качели на мгновение останавливаются вверху – и, если не удержишься, – полетишь на землю. Сестра моя не удержалась – и, конечно, разбила себе нос, подбородок... Чтобы сильно раскачаться, надо еще и силу иметь, и смелость У меня ни разу не получалось взлететь.

Летом было много работы: полить грядки, прополоть, наносить воды! Если мало воды принесешь, – мама пальцем ткнет в землю – сухо. Поливай снова!

Все в детстве нравилось! Куклы, игры на улице, проказы, страшные рассказы про «черные-черные комнаты с черными кошками...»

Ежегодно в школе делали уколы. Как я их любила! Сейчас видеть иглу – уже страшно...

А уроки чтения самые интересные! Вот читаем сказку Ершова «Конек-Горбунок». Сразу начинались вопросы. Мы хорошо знали, что такое топор, вилы, лопата, колун, разные овощи, но не видели пшеницы, что это такое? Мария Васильевна рисовала на доске колосок пшеницы... И читает дальше. «Я куплю тебе лубков, Дам гороху и бобов». И горох, и бобы – у нас на огородах.

– А что такое «лубки?»

– Это картинка такая, на доске из липы.

У нас в руднике этого дерева нет. «Да игрушечку – конька, Ростом только в три вершка». Вершок – это сколько?

– Это, примерно, с твой мизинец.

– А три вершка?

– Считайте сами!

А уши аршинные какие? – Мария Васильевна показывает.

Вопрос за вопросом... «Очи яхонтом горят».

М.В.: «Если б очи горели, то какого цвета были глаза?»

Мы: «Красного!»

М.В.: «Есть очень дорогой камень – ярко-красный яхонт. Его еще называют рубин. А еще есть синий-синий яхонт – сапфир».

– А тьма народу – это сколько?

– Это тысяча и больше.

– А почему у Ивана все красное: платье, шапка, сапоги?

– Раньше красным называли все красивое. Слышали, говорят: красна девица – значит, красивая...

На уроках Мария Васильевна учила писать ровно, с нажимом (ручки были с разными перьями, лучшие перья – № 76 – хорошо делали нажим). Учительница говорила: «Пропишу тебе ижицу, если плохо напишешь». Иногда приходилось переписывать из-за одной ошибки, помарки целую страницу.

Были у нас учителя и из сосланных. В 5-ом классе учительница немецкого языка, всегда интересно причесана, выделялась своей манерой говорить... а как писала на доске! Напишет фразу готическим шрифтом – мы в восторге! Ни за что нам так не написать. Вот входит в класс... Гутен морген! Вер ист хойте орднер? – Жаль, что всего два года училась у нее...

* * *

В начальной школе в классе была полка с книжками, стопка книжек, Мария Васильевна давала их читать домой. Любимая – «Что я видел?» Житкова. Как прочла, мечтала увидеть лестницу-чудесницу, что в той книжке. Пройдет много лет – и мечта осуществится. Увидела МЕТРО. А появилось метро в Москве в тот же год, когда я родилась.

Все знали стихотворение Кольцова «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой...», – все как у нас на руднике. В той же книжке было большое стихотворение А.Кольцова «Хуторок» – нам оно нравилось, хоть и очень грустное. Мы жалели молодую вдову (узнали значение этого слова). Сначала не поняли, что случилось в избе, учительница как-то объяснила, почему погибла вдова. Но мы получили «порцию» нравственности, жалость к вдовам – они, как травинка при дороге...

Позднее, наверное, в институте, узнала, что в Воронеже жил современник Алексея Кольцова Иван Никитин, оба не дожили и до сорока лет, у обоих жизнь безрадостна, а стихи о безрадостной жизни и прекрасной отчей земле. Наизусть мы учили стихотворение Никитина: Звезды меркнут и гаснут. В огне облака...

Мария Васильевна словами, картинками объясняла непонятные нам слова – лозняк, камыш (у нас не было ни того, ни другого).

*Вижу – даль степей
Зеленеется.*

Мы смотрим картинку, видим и наш пейзаж: «цепи гор стоят великанами», узнаем о нашествии татарской Орды, Наполеона...

Любимыми были сказки Братьев Grimm, Ш.Перро... «Три поросенка»; ратно читали по ролям, смеялись над Ниф-Нифом и Нуф-Нуфом, они были очень похожи на нас.

На втором этаже школы – библиотека. Зачитывались «Всадником без головы», «Человек, который смеется», «Гаврош»...

На ул. Ленина в небольшом доме жила семья Пятницких, интеллигентная – говорили о них, двое детей в семье. Некоторым (надежным) Пятницкие давали читать книги из своей «Золотой библиотеки»: Д.Дефо, Свифта...

Читали мы и «Пионерскую правду», на последней странице всегда было что-нибудь смешное про учеников. Был популярный журнал «Молодой колхозник» – мы ничего не знали о колхозной жизни, смотрели картинки, которых было много. Журнал внешне был похож на «Огонек».

В домах и на улице было радио. Называлось – тарелка, потому что формой похоже на тарелку, только черное. Радио почти не выключалось. Каждое утро начиналось с Гимна страны – в 6 утра. Затем шла информация о выполнении пятилетки, о достижениях колхозников, шахтеров... Были очень интересные передачи: «Театр у микрофона», литературные чтения, музыкальные спектакли. Запомнилась диктор Ольга Высоцкая – речь всегда четкая, чистая. Она рассказывала о писателе, о его героях – и тут же отрывок из произведения. Передавали по радио песню из фильма «Встречный», музыку к нему написал Д.Шостакович, а про автора слов ничего не говорили (Борис Корнилов, комсомольский поэт, муж Ольги Берггольц, в 1938 году был расстрелян).

*...Нас утро встречает прохладой...
Проснись, вставай, кудрявая
Навстречу дня....*

Венедикт Ерофеев вспоминал: «Эта песня меня будоражила. Надо идти на лекции, но я брал себя в руки и не вставал. Будоражила, потому что я очень любил Дмитрия Шостаковича».

Музыка Шостаковича часто сопровождала отрывок из какого-нибудь радиоспектакля; еще передавали И.Дунаевского, теоджаз

Утесова (что такое – «теоджаз» я не знала, так на пластинках было написано), песни К.Шульженко...

На ул. Ленина, около клуба, висела радиотарелка. Когда сообщили о Победе, – вся улица словно замерла – так неожиданно... Минут пять – тишина, слушали голос Левитана, а потом песни, помню:

*Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли с победой партизаны.*

А дома у сестры Эмилии, как только услышали по радио о Победе, мачеха, как принято было, упала на одежду мужа Ивана Высоцкого, погибшего в 1944 г., всего за полгода до этого Дня – и горько-горько и громко-громко плакала: и мужа нет и осталась одна с четырьмя детьми... Она была не одинока в этом горе. Когда кончилась война, на три седьмых класса вернулось трое отцов...

Был у нас дома патефон. Когда я оставалась одна дома, заводила патефон, ставила пластинку с красным кругом (были и с черным), расстилала на полу большую с кистями шаль бабушкину, садилась на нее – и слушала...Пластинка с красным кругом мне особенно нравилась. Позднее узнала, что это за музыка была: Увертюра к опере «Кармен»! У папы была любимая – «Окрасился месяц багрянцем» (пела Л.Русланова). У бабушки Марии Сафроновны – «Травушка-муравушка» и веселая: «Ехал на ярмарку ухарь-купец – в красной рубашке, кудряв и румян... вздумал деревню гульбой удивить». Маме некогда было слушать пластинки, но в праздники, когда были гости, любила со всеми петь «Как умру...». А мы с сестрой любили: «Домовой», «Три поросенка и злой волк», учились под эту музыку танцевать.

Были у нас пластинки и с классической музыкой. Когда на конверте встречала портрет дирижера Е.Мравинского, то почему-то сравнивала его с Суворовым – и у того, и у другого в фигуре, взгляде – грандиозность, уверенность!

Папа играл на балалайке. Придут гости – папа берет балалайку, начинает играть и говорит: «Галя, пляши!» И Галя «бьет дробь» каблукчиками. Мне не предлагал – не умела.

По радио узнавали все новости, песни... Без него я не представляю ту жизнь.

Помню, осенний день... Одна дома. По радио звучит такая музыка!

До слез она меня довела! Вошла сестра: «Что случилось?» – «Галя, послушай!» – «Ну». – «Послушай, какая музыка!» – «Фу, напугала, дура».

На следующий день спрашиваю у учительницы пения и музыки Елены Федоровны:

– Вы слушали вчера радио?

– Нет, а что?

– Такую музыку передавали!

Елена Федоровна села за рояль...

– Эта?

– Нет.

– Эта?

– Нет.

– Может быть эта?

– Да-да!

– Это «Полонез» Огинского. И рассказала о композиторе, об этом его произведении. Потом эту историю я рассказала своей подруге. Прошли года... Она из Минусинска приехала ко мне в гости, в Ригу. И рассказала, как она тогда поняла: Огинский посвятил эту музыку любимой Полонесе!

То радио-тарелка много лет просвещало нас!

В школе был преподаватель – организатор вечеров, музыкант, руководитель хора – Александр Писарев, мастер своего дела! Хор часто выступал в Клубе в праздничные дни. На вечере, посвященном стахановцам, хор пел песни Лебедева-Кумача:

Мы все добудем, пойдем и откроем:

Холодный полюс и свод голубой!

Или: Нам песня строить и жить помогает...

Или песню «Веселый ветер»:

Спой нам, ветер, про славу и смелость,

Про ученых, героев, бойцов...

Но лучшие вечера – спектакли учеников. Были удивительные Кашеи Бессмертные, Бабы-Яги, Змеи Горынычи... Может, под тем детским впечатлением и ставила я в гимназии Золитуде и в 34-й замечательной школе «До третьих петухов» В.Шукшина.

Наступило время сказать – прощай, рудник Балахчин, прощай рудник, богатый кедром, золотом и достойными людьми! Прощай,

«золотая» речка Андат, заросшая красной смородиной, жимолостью, прощайте, моя учительница Мария Васильевна, подружки... Начинается новая жизнь, городская – мы приехали в Кызыл – столицу Тувы, в страну Саян.

А рудник закрыли в 1953 году, видно, кончилось золото...

С августа 1960 года я живу в Риге...

Как-то наша учительница истории Анна Мохова спросила меня, откуда я?

Подобные вопросы были не раз, с разных сторон. Спасибо, эти вопросы заставили меня оглянуться, вспомнить забытое, спросить...

В ноябре 2013 года отмечалось 80-летие Ояра Вацетиса. Новые переводы посвящаются этой дате.

Поэзия Ояра Вацетиса (1933 – 1983) всё определеннее занимает свое надлежащее место и в литературе начала 21 века – как выдающееся, существенное явление искусства слова не только в Латвии, но и в «другой Европе» (Ч. Милош), – и одновременно созвучное с вершинами современной ему западно-европейской поэзии.

В посмертно изданном десятитомном Собрании сочинений Вацетиса опубликованная при его жизни поэзия составляет примерно лишь треть. К тому же начиная с 5 тома Собрание сочинений издавалось в трудное время реформ и кризисов, и тираж его резко уменьшился. Значительная часть наследия поэта так и осталась для многих труднодоступной. Поэтому особую ценность обретает изданная в конце 2012 года книга избранных произведений «Стихи», которую успела составить (в сотрудничестве с литературоведами В. Канепе и И. Кронта) Людмила Азарова (1935 – 2012) – вдова поэта, русская поэтесса Латвии, переводчик. В своем кратком предисловии к изданию она пишет, что ««Стихи» ВПЕРВЫЕ... без странных белых пятен (с точки зрения сегодняшнего читателя)... последовательно» отражают путь «недожившего до безцензурных времен» автора. Работая над новейшим изданием, составители «старались реставрировать доподлинный и непрерывный творческий путь, создавая книгу «без вырванных страниц»». По их убеждению, в этой книге представлены самые существенные произведения, ядро поэзии О. Вацетиса.

Новые переводы Ирины Цыгальской – из последнего раздела этой книги, куда вошло написанное с 1980 года по декабрь 1983.

Песня про войну

Спой, отец,
 ту песню свою грозную,
 а то мне уже кажется,
 что солнце на небе вечное,
 что мир
 вечен
 и в нем моя безопасность
 вечная.

Спой, отец,
 голос твой как из жести
 станет,
 морщины траншеями будут,
 в глазах –
 утрата.

Спой, отец,
 чтобы я не привык,
 что любимое всё
 вдруг потерять
 можно.

Спой, отец,
 не терять привычные
 в следующий миг
 потерять могут.

Спой, отец,
 свою про войну песню,
 ты ее поешь
 так страшно,
 что дрожь пробирает
 от собственной слепоты.

* * *

По-над морем
 идя
 по лунному мостику,
 ты только знай
 иди.

Пустыми глазами
 глядят
 на тебя,
 безголосую глоткой
 облают
 тебя.

Пес сомнений.
 Пес смерти.

Идя
 по лунному мостику,
 верь так сильно,
 чтоб заложило
 уши.

Ибо, услышав лай,
 пучина откроется
 и сорвет
 тебя
 с мостка.

Пес сомнений.
 Пес смерти.

По лунному мостику
 проходя...

* * *

По лунному мостику
проходя,
только о том

и думай –
куда ты идешь,
лишь о пути
размышляй.
Под тобою
море сомнений,
беззвучную смерть
вылаивает,
бессмешье
немых ужасов
выхохатывает...

По лунному мостику
проходя...

Главное

У ворона,
того, что явился сидеть
над раскрытой могилой Чака
уже есть
прапрапра правнуки.

Он
ласковым голосом
каждому
в сто лет однажды
расскажет про этот случай странный:
он видел,
как закопали
солнце,
и стал самым черным

из воронов всех
от ужаса,
что дня уже больше не будет.

Как прожить воронову
сотню лет,
если нет больше дней?...

Но день
наступил снова
с играми золотыми.
Один из праправнуков ворона
что ни день
кружит или сидит надо мной,
я гляжу на него с трепетом –
от меня зависит,
будут ли
в лапке его золотые игры
или кость
побелевшая...

Нужно ли было,

чтобы стемнело уже
и звезды пленять начинают души?
Потому что мгновенью, меж нами бывшему,
на века затянуться бы надо.

И в конце концов – что же век?
Ниточка пряжи гарусной в судьбоносном приданом
времени,
миг один – и уже прохладой веет
с моря необратимости.
Миг один. Блещет огонь в глазах.
И второй. Смотришь в стекло тусклое.
И корабль еще один, ускользя,
в неумолимом тумане исчезнет.

Это так всегда. От скорости больно.
Она быстро приносит и быстро уносит.
И в глазах твоих тоже восходят звезды –
не те, что там, настоящие, а жаркие и соленые.

И блеск их сплывается вместе
и там они умервщляют друг друга,
и что между мной и тобою будет,
знает лишь нами избытое.

Избытое даже, оно святым остается
и тихо реять над нами обоими будет,
пока не прошепчут «зачем?» последнее
наши губы.

Потом... Но все это будет потом, когда сердце уже
ни любить и ни ненавидеть не будет,
и над тишиною белою
давно мертвый свет засияет.

При свете Луны

Месяц над Братским кладбищем.
Матерь становится – идолом,
а Вечный –
жертвенника огнем,
свет лунный возносит к небу
немые ряды,
как миражи.

Да, именно эту странную
необычайность сюда
я пришел искать.

Да, именно эту священную
непривычность себе я пришел
возвратить.

Время спешки
окисдирует душу,
но никакое время
не смеет заокисдировать нам
Братское кладбище.

Как только мы впустим
в себя окисдацию времени,
на кладбище Братском
мы потеряем
Братьев.

Своим лунатизмом
сердца гонимый,

я к Братьям
пришел,
когда Месяц.

При свете Луны
Братья шли мне навстречу,
Солнцу и миру
счета
заплатив честно.

Из книги „EX LIBRIS” (1988)

Вольные переводы Елены Васильевой

* * *

Снег падает, стоя, он - совершенен,
загоняет вниз меня, во внутрь земли.
Я смертный сон свой осовременил
и многое ещё, что было вдали.

С трамвайным талоном что мне там делать?
Компостера нет – такая беда.

И синий баллон становится белым,
когда замерзает живая вода.

И самое главное: в сердце моём
иней не осыпается и не плачет,
сухо поблескивает тайком
осколками в шерсти моей собачьей.

В марте скворец не чёрный, а серый.
И серая трель этой серой ночью –
главная элегия моя, наверно,
моя элегия в моём многоточии...

Как мне пройти сквозь стоящий снег
и покорить стоящую там же вершину?!
...Брошу разбойный свой свист за всех,
за всех, как раньше, и, стоя, застыну.

2010 г.

* * *

Тяжелы облака для сосны. Я – сосна.
Я пасу облака. Пока молод, пока...
А не будет сосны - и не будет меня.
В лес уходит сосна, я уйду в облака!
Надо мной облака без меня проплывут,
звонким эхом с небес я окликну тебя,
с тем, что было со мной, что любовью зовут,
я останусь с тобой уже после себя.

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА

Эти письма были зачитаны на вечере, посвященном 90-летию Ларисы Романенко (1923 – 2007), 27 марта 2013 года в Союзе Писателей Латвии

М. Костенецкая

К 90-летию Ларисы Романенко

Как поэту Ларисе Романенко выпало счастье жить в то время, когда поэзия была по-настоящему востребована обществом... Несмотря на строгие цензурные ограничения политического режима, книги поэзии все же выходили большими тиражами, и у каждого поэта был свой круг читателей. Несомненно, свой искренне преданный читатель был и у Ларисы Романенко. Лично я могла в этом убедиться не раз, когда в 70-ые и 80-ые годы прошлого века вместе с Ларисой в составе писательских бригад выезжала в сельские районы Латвии на традиционные Дни Поэзии. В основном нам выпадали поездки в Латгалию, поскольку действовавшее под эгидой Союза писателей Латвии Бюро пропаганды литературы русских писателей включало по большей части в латгальские бригады – там во многих аудиториях русский язык был более востребован. Впрочем, и в чисто латышских аудиториях творчество Ларисы Романенко воспринималось с положительными эмоциями. И, в первую очередь, это было обусловлено тем, что в латышских аудиториях Лариса читала не только собственные стихи, но и свои переводы на русский язык латышских поэтов.

В таких поездках мне было интересно наблюдать, как не очень хорошо владевшая латышским языком Лариса Романенко искренне и весьма эмоционально восхищалась народными традициями, латышским фольклором, прикладным искусством – всего этого на Днях Поэзии хватало с избытком. Чего стоили одни только визиты к латгальским художникам-гончарам, когда мастера именно к Дням Поэзии приурочивали вскрытие замурованной глиной обжиговой печи с новой коллекцией кувшинов, тарелок, подсвечников! Как сейчас помню голос Ларисы, когда каждое гончарное изделие, появлявшееся над ямой из неостывших еще кирпичей печи, она сопровождала эмоциональным возгласом «Ой, не могу!».

Хорошо, что коллеги вспоминают сегодня имя поэтессы в связи с ее 90-летием. Но все же я считаю, что доброе отношение к писателю

важнее продемонстрировать ему еще при его жизни. Именно поэтому мне было так важно поздравить Ларису Романенко десять лет назад с 80-летием. Я тогда работала на Латвийском Радио, вела авторскую программу «Домская площадь», и, зная об очень тяжелых ударах судьбы, постигших коллегу на склоне лет (незадолго до этого она похоронила свою дочь), пришла к ней домой, в писательский дом на Валдемарас (бывшая улица Горького), с букетом роз и микрофоном. Записала интервью, в котором Лариса читала свои новые стихи – это вышедшее в эфир интервью и стало практически последней прижизненной публикацией автора. Как сказала о ней другая моя коллега – поэт и одновременно редактор нескольких книг Ларисы Романенко – Людмила Азарова, «Лариса, несомненно, была талантливым человеком; одно название книги «Божий приемыш» чего стоит!». И сказала это та самая Людмила, которую эксцентричная Лариса Романенко не раз будила среди ночи телефонным звонком только ради того, чтобы прочесть написанное несколько минут назад стихотворение! Терпеливый редактор Людмила Азарова, выслушав стихотворение до конца, коротко, но строго говорила в таких случаях в телефонную трубку: «Лариса, посмотри на часы. Сейчас третий час ночи...»

ИМАНТ АУЗИНЬ

из предисловия «Дар сопереживания» к сборнику Л. Романенко «Рождение речи» (1983)

... Долго копились эти строки. Как отблески радости и страданий, как предчувствия, наития, сомнения, вопросы и эмоциональные ответы.

Неослабевающее внимание к судьбе человеческой – начало и залог поэзии. Оно роднит творчество подчас очень разных поэтов, представителей разных эпох и народов. В лирике Л. Романенко тревога за самых близких, любимых нередко расходится все более широкими кругами – будь это строки о знакомых с детства людях севера России, о годах войны или о трагическом прошлом Армении, о сегодняшних заботах латышской крестьянки.

Но о связях ее с Латвией следует сказать особо. Она очень много

сделала в области перевода латышской поэзии.

Думается, что ее путь интересен и поучителен для многих: человека обогащают другие люди и другие народы.

При этом считаю нужным подчеркнуть, что Лариса Романенко – очень русская поэтесса. Ее стихи глубоко коренятся в русской жизни, в стихии русской поэзии и языка.

Многие стихи Ларисы, что называется, поддаются переводу...

Суть этого явления, по-моему, в том же даре сопереживания, участия, иными словами – в общечеловеческом звучании многих строк поэтессы. Как бы ни были подчас сложны психологические, поэтические, языковые оттенки, привлекает и вдохновляет переводчика основное: близкая нам радость, тревога, боль.

Многие стихи доказывают, что Лариса Романенко и в кратких формах нередко проявляет эпическое мышление.

Это – явление, в основе которого – верность своей человеческой и поэтической судьбе. Низкий порог боли. А может – высокий порог радости?

ОЛГА ЛИСОВСКА

Мне теперь не повторить. Из предисловия к сборнику Л.Р. «Осока – странная трава» (1988)

В связи с приближающейся важной датой – 90-летним юбилеем поэта – Ольга Лисовска рассказывает по телефону: «Я помню, как я впервые увидела Ларису. Это было в Союзе писателей, в Доме Бенъяминов. Как она вошла, молодая, смеющаяся... Какая-то отчаянная...»

Ольга Лисовска – одна из тех, кто переводил стихи Романенко на латышский язык. Она также автор предисловия к сборнику избранной лирики поэта «Осока – странная трава». «Я писала под впечатлением от только что прочитанных стихов. Писала от всего сердца... Мне теперь не повторить уже сказанного, в моих новых словах уже не будет того чувства». И Ольга просит прочитать собравшимся выдержки из своего прежнего предисловия.

«Мы не раз участвовали в совместных вечерах поэзии. И всегда меня поражал ее редкий талант – совмещать в себе способность творить и исполнять созданное с таким совершенством.

При чтении ее стихов раскрываются и другие, более глубокие пласты.словно солнечный луч проскальзывает еще дальше, и мы видим в затаенном уголке картины ранее незамеченное, но столь неожиданное соединение красок, что это вдруг становится главным. В новом ракурсе раскрывается мысль, за которой второпях мы не проследили. И сила. Какая огромная сила таится в простоте!

Может быть, именно поэтому мне очень нравится переводить стихи Ларисы Романенко – шаг за шагом, строку за строкой, следя за развитием стихотворения, и так же шаг за шагом, строку за строкой, пытаюсь выразить на своем языке. А может быть потому, что у Ларисы так много прекрасных стихов о моей родной Латвии, об улочках Старой Риги и новых кварталах, о наших музыкантах и поэтах. А может быть потому, что мне очень нравится то, как пользуется Лариса образами природы в своих стихах, как строит сравнения...

Лариса Романенко умеет внимательно вслушиваться в круговорот эпохи, времени, судеб. И не только вслушиваться, но и смотреть на них в развитии и отдавать увиденное читателю уже пропущенным сквозь призму своей души, сквозь свою радость, свою боль. Большой мир входит в ее стихи через будни, через радости и горести близких людей, но эти будни не мелки, не приземлены, не эгоистично-обособлены.

Душа поэтессы распахнута...ей известны слова, которые из Странья создают Свет.

ЯНИС СИРМБАРДИС

Памяти Ларисы

(К ее 90-летию)

Что мне сказать о Ларисе Романенко?

Если коротко, то: хороший русский поэт и одна из самых преданных в своем постоянстве переводчиков латышской поэзии. Это – без эпитетов, без более глубокой характеристики ее поэзии, сложного, даже трагического душевного и духовного строя личности, ее эмоционального вибрирования, которое могло быть одновременно захватывающе клокочущим и саркастически едким. Вообще она время от времени могла быть настоящим клубком эмоций и переживаний, да, да, время от времени настоящий еж, ошетиливший колючки для защиты от мирского зла, которое могло ранить ее переполненное эмо-

циями, но нежно чувствительное сердце.

Прежде всего я в долгу перед Ларисой за то, что она была первой, кто всерьез взялся за переводы моих стихов на русский язык. Результатом стала моя первая переведенная книга «Багряное время малины» (в то время вышли мои первые три сборника стихотворений по-латышски). Разумеется, я не был первым из переведенных ею латышских поэтов. Лариса переводила поэтические строки Мирдзы Кемпе, Арии Элксне, Олги Лисовской, Монты Кромы, Бруно Саулитиса и многих других латышских поэтов. И латышские поэты старались ответить тем же. В 1975 году вышел на латышском языке ее сборник „Ceļa vējš”, составителем которого была Ария Элксне, автором предисловия Андрис Веянс, а переводчиками Цецилия Динере, Ария Элксне, Монта Крома, Мирдза Кемпе, Имант Зиедонис и автор этих строк. В 1985 году вышел по-латышски ее сборник „Saknes”. Его перевели Имант Аузинь, Олга Лисовска и автор этих строк.

В то время литературная жизнь протекала гораздо заметнее, чем это происходит сегодня. Мы часто виделись на общих собраниях, на встречах с читателями, в совместных поездках и проводимых Союзом писателей экскурсиях, на самых разных других мероприятиях.

Отглядываясь на ушедшие времена и дни, с глубоким уважением и благодарностью надо оценить тот вклад, который Лариса Романенко внесла в многогранную красочность русской поэзии, и особенно – в популяризацию латышской поэзии в широкой понимающей порусски аудитории. Об этом нам особенно полезно вспомнить сегодня, когда роль поэзии унижается, выбрасывается куда-то за дверь, как не заслуживающая более широкого интереса.



Лариса Романенко

СТИХИ 2004 – 2006 гг.

* * *

Заколочено окно в Былое!
 Для чего хочу открыть я ставни?
 Чтоб земной казалась и недавней
 Явь, что стала явью неземною?
 Чтобы в голоса я окунулась
 В те, которых не было роднее?
 Чтоб улыбкой прежней улыбнулась?
 (Боже! улыбаться не умею...)

Но мои бессильные ладони
 Открывают ставни, открывают!..
 Кто-то мне приказывает: «Вспомни!»
 И меня внезапно убивает.
 Я уже на свете не жилица?
 Значит, суждено мне быть убитой?
 Но... «душа не может не молиться»...
 Воскресаю... Ставни вновь закрыты.

* * *

Вспомнила. Всё передумала
 То, что забылось давно,
 Словно заданье исполнила,
 То, что мне свыше дано.

Только вот... легче не стало мне:
 Ноша моя тяжела,
 Словно с глазами усталыми
 Вечность уже прожила,
 Чтоб надыхаться безмолвием?
 Чтоб одиночества дым
 Стал неременным условием?
 Спутником
 черным
 моим?

Знаю одно,
 что о смерти я
 Прав не имею гадать!
 Милосердие мне суждено
 В душах живых пробуждать.

С теми, кто мается, маяться,
 С добрыми плакать о злых,
 За нерадивых покаяться...
 Слышать дано за других.

* * *

– Мама, слышишь ли зяблика пенье?
 звук за звуком журчит ручейком.
 Храма дальнего сердцебиенье,
 мама, слышишь ли в звоне святом?

Неба край нежным облаком вышит,
как платочек твой,
тихо смотрю...

Может...
дочери видят и слышат
то, о чем я с тобой говорю?

На земле
на огромной
одна я.
Незаметнее всех, может быть.
Но меня-то
ты видишь,
родная?
Голос мой ты не можешь забыть!

Где б ни шла, возле дома иль храма,
слышу я дочерей голоса:
– Мама, слышишь ли?
– Видишь ли, мама?
Новый день у тебя начался...

Исповедь

Какая горестная смелость
Твердить себе: «Держись, держись!»
Кончается не день, а жизнь...
Пусть жить уже и расхотелось,
Но осознать трудней всего,
Что не успела ничего...

«Цветы травы – земная слава», –
Так в книге сказано
Святой...
Расцвел цветочек золотой
И вдруг увял. Он – дня забава.

И ты стоишь, глядишь: как он
Летит пушинкой в даль времен.

А город, громок и огромен,
Не помнит твоего лица.
Уже в предчувствии конца
Твой каждый час почти бездомен.
И все же, все ж, больней всего,
Что не успела ничего...
И о спасении молиться
Нет, не себя,
Души родной
Сейчас, на каторге земной,
Я всё пытаюсь научиться...

И оттого страшней всего,
Что не успела ничего...

* * *

За мной пришел ты, Пятый листопад?
Любимые следы заметены...
А листья снова падают, летят,
Шуршат среди осенней тишины.

Чт'о дереву, которое весной
Листвой к себе опять заманит птицу?
Ему всю зиму сон об этом снится.
Чт'о дереву в сравнении со мной?

Не гнется ствол: он строен, он высок.
А ветви к небу рвутся, не к земле.
И не печален и не одинок
День дерева, таящийся во мгле.

Всё реже к небу поднимаю взгляд.
И тенью тени собственной я стала.
Пришел за мной ты, Пятый листопад?

Дверь распахну тебе!
Я так устала...

... Восходит утро!
И не помнит слез,
Пролитых щедро одинокой ночью.
И к веткам льнет и льнет листва берез,
И листопадом быть она не хочет.

* * *

Воспоминания костры
Горят, горят неугасимо!
Не видеть бы, пройти бы мимо,
Но иглы пламени остры.

Они до самой глубины
Внезапно в душу проникают,
День настоящий выжигают.
Мы только Прошлому должны...

Улыбку...
Слово, что, увы,
В свой нужный час не прозвучало...
Но в Прошлом всё начать сначала
Не суждено земной любви.

У Прошлого свои миры...
Кричи иль не кричи. Напрасно...
Горят неумолимо властно
Воспоминания костры!

* * *

Палящее лето, ты рай наш,
но только в тени...
Глаза ослепляешь
И в горле пылающий ком!

Прожить бы у моря твои сумасшедшие дни,
Но море тем дальше, чем дольше живем.

И вянут кусты,
И грешит желгизною трава.
Лишь птица, как прежде, поет-распевает!
И рано взлетает, и раннею росой жива,
Не плачет о море, и моря не знает.
Палящее лето! Я волю в ладони зажму,
Не плача пойду сквозь бессилия
горестный дым
Туда, где душа никогда не служила уму
И слышала то, что зовут неземным.

И с трудной дороги вновь трудный мой день начался.
И снова, душа, ты не плачешь, не плачешь.
Над вечным покоем родные звучат голоса...
Палящее лето, как мало ты значишь!

К ПОРТРЕТУ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ

Недавно, в мае 2013 г., ушла Светлана Ивановна Хаенко (род. 1941). Это значит, что мы больше не увидим, как она идет по городу в своих разлетающихся пальто и шарфах, как медленно заносит ногу на ступеньку, как откуда-то сбоку появляется в дверях, не услышим ее громкий и одновременно тихий голос, голос, три с лишним десятилетия звучавший на выставках, лекциях, на радио; ни к кому из нас она больше не обратится по имени, с включением в имя ласкательного суффикса, не скажет нам всем – «друзья».

Остались составленные ею альбомы рижских художников и скульпторов, вступительные заметки к буклетам, многочисленные статьи и интервью, но этого мало, чтобы понять, какую роль играла Светлана Ивановна и ее улыбка в рижской художественной жизни.

Вот один штрих к портрету ее творческой биографии. Много лет Светлана Ивановна сотрудничала в журнале «Даугава». Для ориентира помещаем список ее статей в этом журнале и воспроизводим несколько ее статей из этого же списка:

1. Пронзительная теплота : [Р.Богустова] 2007. I. 116-137.
2. «Понять себя...» [О.Рель]. 2006. V-VI. 146-152.
3. «Временность жизни нашей – не пустое место» [Г.Шелковой] 2006.

I.

- 115-116, вклейки.
4. Единение – Творчество – Встреча [Группа «Пазарх»]. 2005. I. 114-120.
5. Люди постмодерна [В.Даниленко. А.Королева. В.Зимин]. 2004. VI. 149-156.
6. Елена Антимонова. 2004. V. 193-196, вклейки.
7. «...Замкнуться в себе и творить» [В.Шувалова.] 2004. IV.171-179, вклейки.
8. Иосифу Эльгурту – 80. 2004. II. 120.
9. Город Эдгара Микельсонса. 2002. IV. 98-106.

10. Памяти Ливии Андрюкайтите. 2000. V. 112-113
11. За букетом крапивы вдоль трамвайных рельсов [В.Глушенков]. 1999. V-VI. 176-179.
12. Квадрат Михайла Штильмана. 1998. III. 134-140.
13. Миф о времени и о себе [Е. Антимонова]. 1997. VI. 111-119.
14. Артур Никитин. 1996. VI. 142-147.
15. Натюрморт. 1996. V. 150-153.
16. Ритумс Ивановс. 1996. III. 97-99.
17. Размышления по поводу выставки, подготовленной для Москвы Фондом русской культуры Латвии. 1996. II. 152.
18. Микелис Панкокс. 1996. I. 118-121.
19. Олег Дзюбенко. 1995. VI. 144-148.
20. Ина Воронцова. 1995. V. 145-149.
21. Лилия Динере. 1995. IV. 102-105.
22. Екаб Казакс. 1995. III. 130-135.
23. Вольдемар Ирбе. 1995. I. 132-135.
24. Рижский фарфор. 1994. VI. 153-158.
25. Георгий Зерницкий. 1994. V. 160-164.
26. Виктория Пельше. 1994. IV. 159-163.
27. Карлис Падегс. 1994. III. 148.
28. Бабкен Степанян. 1994. II. 140-144.
29. Мода существует, чтобы мир выглядел счастливым. 1994. I. 150-153.
30. Зоя Фролова и Янис Якобсонс. 1993. VI. 155-157.
31. Елена Антимонова. 1993. V. 147-151.
32. Янис Тидеманис. 1993. IV. 158-159.
33. Илмарс Блумбергс. 1993. II. 168-171.
34. Куртс Фридрихсонс. 1993. I. 120-122.
35. Майя Табака. 1992. VI. 167-171.
36. Подождать себя [Г.Шелковой]. 1992. IV. 126-127.
37. Искусство на службе революции. 1982. XII. 110-114.
38. Медвяные краски осени. 1981. XII. 113.
39. Быть другом света и красоты. 1981 [Л.Андрюкайте]. III. 120-122.
40. Бессмертный образ вождя. 1980. IV. 89.

Б. Р.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВЫСТАВКИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ДЛЯ МОСКВЫ ФОНДОМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛАТВИИ

«Даугава» (1996. II. 152.)

Трехдневная выставка в “Арсенале” оказалась не только самой короткой, но и самой посещаемой и самой спорной. В ее оценке организаторы выставки и пресса занимали нередко противоположные позиции. Потому хотелось бы немного порассуждать о нынешнем состоянии искусства некоренной нации вообще.

Начинать разговор о русском искусстве Латвии надо с уточнения понятий. Само определение уже достаточно условно, поскольку речь идет скорее о творчестве художников, выросших в основном на русской культуре (и уж на русской литературе обязательно), но имеющих явный “балтийский акцент”, приобретенный в результате естественного слияния русской, латышской и европейских культур. И как в свое время в искусстве балтийских немцев, так и сегодня в искусстве русскоязычных художников обогащение своей ментальности иными ритмами, иным цветоощущением и иными требованиями к картине в большей или меньшей степени коснулось почти всех проживающих в Латвии.

А так как уже несколько десятилетий русские художники четко делились на немногочисленных представителей русской диаспоры, получивших серьезную местную школу, и тех, чье образование этому общепринятому уровню не соответствовало, то и искусство их развивалось параллельно, почти не соприкасаясь. Первые, благодаря яркости таланта и энергии, нередко достигали значительных успехов, занимая определенное место в латышском искусстве и зачастую представляя его на международных смотрах (А.Никитин, В.Пельше, А.Наумов, Г.Гейкин, Л.Андрюкайте, З.Гераскина, Г.Шелковой и др.) Однако большая часть художников, имевших за спиной другие школы или вообще не получивших систематического образования, официальным художественным рынком игнорировалась. Это привело к созданию своего рода периферийной системы: стали создаваться

объединения независимых художников типа “Свободного искусства” (инициатор и руководитель В.Павлов) и “Антея”. Именно они занимались организацией выставок русскоязычных художников в Риге и за границей. В последнее время эти функции взяли на себя ряд галерей и Фонд русской культуры Латвии.

И хотя данная экспозиция не отражает истинного положения вещей – слишком многие художники на ней не представлены, но сама по себе она очень показательна. Пестрая, неровная, объединяющая поистине крайности (от экспрессионизма до натурализма, от высочайшего мастерства до явного дилетантства), причудливая в неожиданных столкновениях понятий и стилей, эта выставка все же продемонстрировала не только желание художников “навести мосты” между собой и русским зрителем. Эта выставка невольно зафиксировала состояние русскоязычного искусства в новых условиях, выполнив таким образом роль, на которую ее организаторы вряд ли могли рассчитывать.

Подчеркнутое отсутствие местных стереотипов, почти демонстративная отстраненность от местной художественной школы наглядно доказывали убежденность в том, что международному бизнесу ближе эстетическая система, преодолевшая этнические и региональные стереотипы. И это естественно — во всех вновь образованных странах стремление попасть на мировой художественный рынок накладывает на искусство особую печать. Но что характерно: “вытаскивается” в основном вторичный опыт, накопленный европейским и американским искусством (все “нео” и “пост”).

В то же время обостряется интерес к тем направлениям в искусстве, в которых отсутствует абсолютизация профессионализма как главного качества успеха. Сознательное пренебрежение школой объяснимо – оно раскрепощает, а в наших условиях еще и расширяет круг участников. Но оно же лишает произведение устойчивости: верхний слой нередко не соответствует основе.

Преобладание декоративной тенденции в творчестве наших художников связано с новыми представлениями о роли произведения искусства в интерьере, особенно офисном. Современный интерьер, его стиль действительно диктует свои ритмы, свои законы, ведь любое художественное произведение лишь часть ситуации, всегда “художественное переживание времени”.

Вот тут-то за внешними, чисто формальными приемами и выявляются более глубокие причины и следствия. Ощущение растерянности и бесприютности, а порой и просто беспросветности ситуации вызывают у художника потребность отойти от “здесь и сейчас”. Проявляется это в желании сдвинуть пространственно-временные отношения. А отсюда интерес именно русскоязычных художников к сюрреализму (на выставке почти не представленному) и редкое (чаще чисто коммерческое) появление чистых жанров.

Время, кажется, вообще упраздняется или становится “архитектором руин”. Художники берутся за вневременные темы, вновь ставят “вечные вопросы”, даже названия произведений приобретают философский подтекст. При этом явно просматриваются первоисточники: от греческих мифов до “новых” классиков XX века. Оказавшись в конце столетия, мы волей-неволей оборачиваемся назад в поисках опоры. И не только мы – весь мир занимается интерпретацией классики, стараясь протянуть незримую нить от прошлого к нынешнему дню. Потому и хочется вспомнить слова Сальвадора Дали: “Другого искусства у нас нет и быть не может, а то, которое есть, – дитя времени”.

КАРЛИС ПАДЕГС (1911-1940) *«Даугава» (1994. III. 148)*

Рисунки Карлиса Падегса вместе с графикой Рихарда Зариньша, Никлавса Струнке, Сигизмунда Видбергса, Хильды Вики, Романа Суты неоднократно представляли латышское искусство на многих европейских выставках. И все-таки после смерти художника имя его было «забыто» на четыре десятка лет. Что это? Отмщение за «выпадение» из рамок школы или политические установки тех лет? скорее всего – расплата за право быть одиночкой. Ведь как писал в свое время А. Блок: «...человек, создавший одиночество или хотя бы придумавший его себе – более открыт душою и способен воспринять, может быть, чего другой не воспримет».

Смерть постоянно стояла за его спиной и совсем не в образе черного ангела. Она была безобразна, а ее постоянная близость не могла не сказаться на творчестве больного туберкулезом художника.

Возможно, именно по этой причине изысканный денди, чьи эксцентричные поступки регулярно обсуждались в газетах, оказался в латышском искусстве практически единственным, кто позволил себе сделать темой творчества кошмары войны, мерзость убийства, тяготы нищеты, то есть то, как он сам говорил, «чего мы предпочли бы не видеть, лишь бы не испортить себе настроение или аппетит».

Судьба отпустила этому отважному одиночке всего 29 лет, одарив с ранней юности не только зрелым талантом рисовальщика и живописца, но и ироничным, парадоксальным мышлением.

Он же с аристократической небрежностью платил по счетам им самим сыгранной жизни, прикрывая природную застенчивость алкоголем, физическую хрупкость – экстравагантностью костюма, а внутреннее одиночество – богемными застольями и карнавалами. И лишь близкие знали, как велика самоотдача этого художника. Друзья помнят его жалобы на не получающийся рисунок и просьбы помочь. Но кто еще, кроме самого Падегса, мог провести столь изящную, столь разную в каждом рисунке, но всегда безукоризненно точную линию!

Поводом к созданию работ еще с академических лет нередко служила литература, причем самая разная. Уже первый цикл рисунков тушью по рассказу Л. Андреева «Красный смех» (1931) оказался заметным явлением на фоне антивоенного европейского искусства тех лет.

Событиями стали и графические листы, и живописные портреты к Х. Ибсену и О. Уайльду. Причем в образе Дориана Грея явно просматриваются черты автопортрета. Последний в жизни Падегса крупный цикл из 12 листов посвящен героям романов К. Гамсуна (1939).

Однако следует отметить, что Карлис Падегс всегда и во всем оставался прежде всего городским художником. Ритмы большого города, его скрытые традиции и явное напряжение, какое-то особое городское ощущение мира сквозят в любой его работе. Невозможно забыть его «Книгу для нищих», буквально пронизанную безысходностью и неизбывным одиночеством затерянного в толпе человека. С грустной иронией рассматривают человеческую жизнь как краткий миг его элегантно, поражающие умением заставить говорить чистое пространство, листы: «Я хочу умереть в Париже» (1933), «Да, такова жизнь» (1933), «Жизнь проносится так быстро» (1934).

Своеобразный «минимализм», завораживающее изящество силуэтов и линий, артистизм акварельной подцветки способны доводить

ценителей до неистового восторга вне зависимости от сюжета («Паганини», 1938 г., «Сапоги и собака», 1935 г., «О'кей, бэби!» 1934 г.).

Фланирующая по улицам Риги высокая фигура в испанской шляпе и черном с широченными плечами пальто была неотъемлемой частью города – ведь и для художника город был единственным, что было действительно важно. Современникам запомнился его красный шарф, желтые перчатки, бамбуковая трость и белые гетры на пуговках. Его стиль жизни привлекал внимание точно так же, как раскованность, эпатаж Я. Тидеманиса и поражающая непритязательность В. Ирбе. Выставки же, устраиваемые им в парках, на улицах, танцплощадках или в витринах фотосалона Л. Крейцберги, которые он оформлял, способны были повергнуть этих же современников в шоковое состояние – настолько чуждыми казались его работы на фоне спокойно созерцательного и эмоционально взвешенного, привычного для зрителя искусства. Действительно, его «Убийство» (1929), «Массаж» (1930) и ряд других рисунков благодаря своей лаконичности, динамизму, остроте и однозначности характеристик сегодня воспринимаются как фрагменты из нынешних комиксов.

А чего стоят одни его мадонны, то подчеркнуто эротичные («Мадонна с Мариинской улицы», 1932), то изящно трагичные («Последняя мать», 1935), объединяющие, казалось, совершенно несовместимое («Мадонна с пулеметом», 1932) и в то же время вызывающие неодолимое желание вырваться из всего этого. Сегодня они воспринимаются пророчествами или предупреждениями человека, любившего жизнь и боровшегося за нее, как выяснилось, не только для себя. Он умер в 1940 году, оставив о себе яркую легенду. И, к слову сказать, в рекламных разделах рижских газет еще несколько месяцев печатались объявления: «Ищу мужчину типа Падегса».

ЗА БУКЕТОМ КРАПИВЫ ВДОЛЬ ТРАМВАЙНЫХ РЕЛЬСОВ

Очень субъективные заметки

«Даугава» (1999. V–VI.)

Владимир Глушенков – личность для Риги почти легендарная. Мифом о себе он обязан способу бытования (кстати, очень нелегкому), доказывающему и обывателю, и интеллектуалу, что искусство вполне может существовать вне привычных рамок. И еще – четким требованием к зрителю, к читателю и просто собеседнику настроиться на его струну, а он ее выбирает – и всякий раз другую – сам.

По жизни он АРТИСТ, человек ИГРЫ, постановщик ситуаций, где его собственная реакция (интересно!) занимает его не менее, чем чужая. Дрова рубить – так в белых перчатках, золу выгребать – так при галстукке, а по городу – в неизменной шляпе (подозреваю, из театрального реквизита), с потертым портфельчиком возраста его и в очках, которые вам тут же захочется заменить на чеховское пенсне.

Появление Владимира Глушенкова всегда артефакт, любое его действие – акция, перформанс, в который немедленно включаются все окружающие. Собираение букета крапивы вдоль трамвайных путей, ровно за час до затмения солнца вряд ли забудется кем-либо из присутствующих. А ведь речь шла лишь об отборе работ на выставку. И стихи его, изначально запрограммированные на чтение вслух, требуют прежде всего его авторского ритма, его интонации, им выделенного ключевого слова.

Причудливо и редко талантиливый, Владимир Глушенков из породы чудаков-«динозавров», умеющих жить, не отделяя искусство от жизни, а жизнь от искусства. И хотя сегодня общим местом стало утверждение, что для художника постмодерна реальность и воображение вещи трудно разграничиваемые, способность этого человека не впадать в зависимость от реальности, переключая внимание с объекта на деятельность, – поражает. Восемь километров пешком до работы и восемь назад – всего лишь прогулка, возможность, пока город еще

пуст, пройтись по красивым улицам, спокойно рассмотреть любимые здания и в ритме собственного шага слагать стихи. А затем обдумывать их, отбирая отдельные фразы.

Реализацию же своего понимания цвета и технологии живописи откладывать на потом, когда появятся деньги на краски. А пока рисовать портреты всех, кто окажется рядом. Или заняться созданием своеобразных виньеток «сложной сути», которые он определяет как изобразительный орнамент. Для него эти завитки и переплетающиеся линии, рождающие образ или, скорее, фрагменты образов, – символы духовного пространства. Выдумка здесь велика, но на размышлениями не преобладает. Скорее наоборот – восприятие намеренно затруднено литературными параллелями (Дафна, обратившаяся в лавр, – одереvenевшее тело; рога – охотник Актеон, обращенный в оленя и растерзанный собственными собаками.) Эти «существа» гармонируют с пространством листа до степени неотъемлемости. Возможно, потому, что ощущима свобода и точность движения руки автора, увлечение чудодейством – утверждением реальности несуществующего.

Несомненна склонность Глушенкова к визуальному воплощению мифа, притчи, легенды, но с их сегодняшними «заворотами». В живописи – к библейским сюжетам, брутально и экспрессивно изложенным. Вообще живопись для него начинается с академизма (подглядел у Боттичелли – главное должно быть в уголке), а историю искусства Владимир Глушенков рассматривает как историю живописных технологий. В своих пейзажах он задушевен, до нежности. Особенно если это его «горная страна» – Задвинье, где что ни улица, то гора. В автопортретах ироничен, как, впрочем, и в жизни. Но на общение скуп (инстинкт самосохранения). Зато любит переключаться, открыт как миру искусств, так и жизни, что рождает бесчисленное количество параллелей, ассоциаций, отсылок.

Странно, но пишу я сейчас, скорее, не о Владимире Глушенкове, а о его способе бытования, его способе жизни или воображаемых жизней, от которых мы вынуждены отказываться. Однако с большим восторгом готовы использовать его эстетический опыт, включиться в его игру, стать соавторами. Говорят, восприятие – это встречный творческий труд. И чтобы понять Владимира Глушенкова, требуется сначала удивиться, а затем постараться настроиться на его волну. Привычные критерии и оценки, включая совершенство формы, – к нему

не относятся. И сам он находится в пространстве явно не музейном, выставочном и пропечатанном со всеми знаками препинания. (Он и точек-то никогда не ставит, и пишет заглавными буквами, а дневники свои «упаковывает» в весьма экзотические «шкурки».) Его невозможно разложить по полочкам – здесь поэзия, здесь живопись... Просто этот насыщенный природой человек, разрушающий наши иллюзии о том, что каждый творческий акт должен становиться достоянием общности, уже из искусства будущего. А новое, неожиданное – всегда в углу.

Родился Владимир Глушенков в 1948 году. Учился в Рижском прикладном училище, окончил Академию художеств. В выставках участвует с 1968 года. С 1976 по 1996 год – художник-сценограф Латвийского телевидения. Оформлял также спектакли в Национальном театре, театре «Дайлес» и молодежном независимом театре «Кабата». Недавно прошла его выставка в Киногалерее.

Владимир Френкель

ПАМЯТИ ЛЕНЫ ДЫМАРСКОЙ

*По слову Ахматовой:
Когда человек умирает,
Изменяются его портреты...*

А мне хотелось бы сказать: когда уходит поэт, изменяются его стихи. Мы читаем те же строки, но уже другими глазами. То, что воспринималось как поэтический образ, становится явью, нет – реальностью, превосходящей нашу, обыденную реальность. Словно поэт уже оттуда, из запредельного далека, подает нам весть, которую мы раньше не расслышали, читая его стихи. Вот хотя бы такую:

*По ошибке прямо в осень,
Нарушая связь времен,
Мне посланье, видно, бросил
Тот, небесный, почтальон.
Он летает по ночам...
Как назад конверт отдам?*

Как отдать конверт, как написать послание ушедшему поэту, моему другу – Лене Дымарской? В последний раз мы виделись в июне этого года, когда я в очередной раз приехал из Иерусалима в Ригу. Там, в Меллужи, на даче, где жила Лена, мы и обнялись, не зная, что в последний раз.

В своем первом сборнике – «Последний лист», – изданном в 2004 году, она писала в стихотворении, мне посвященном:

*Ты возникаешь из небытия.
И вдруг с тобой на целых две недели
Вновь приезжает молодость моя...*

Но как же иначе теперь звучит: из небытия. А приезжал-то я всего-навсего из Иерусалима, начиная с 1996 года, почти каждый год. Приезжал в свою молодость, в Ригу. А Лена – Лека, как мы, друзья, звали ее, – была неотъемлемой частью этой молодости. Как мы собирались чуть не каждую неделю в ее квартире в Старой Риге, как читали стихи, как звучал ее голос, когда она под гитару пела стихи – чужие, не свои, ах, какой это был голос, незабываемый, таким голосом признаются в любви.

А своих стихов Лека тогда не читала, и мы все, кто к ней приходил, и я тоже, даже не знали, что она пишет. Почему не читала? Не знаю, может, не была уверена в этих стихах, и напрасно: когда я прочел их, то понял, что они были намного лучше тех, что мы тогда читали, и я тоже. Только незадолго до своего отъезда, в 1987 году, я наконец прочел ее стихи, это был венок сонетов.

А когда я снова приехал в Ригу, после девяти лет отсутствия, мы встретились, как будто вчера расстались. Да, это она мне сказала, и мне это так пришлось по сердцу, – что я не изменился, и речь шла не о внешности, а о том, что, в отличие от многих других, я остался тем же, своим, душевно близким, как мы все были свои, своя компания, в дни нашей молодости. Вот ее стихи об этом:

*Мешая в разговорах плач и смех
Со старыми и новыми стихами,
За рюмкой водки мы помянем всех,
Кто с нами был и не остался с нами.*

И эти стихи сейчас звучат по-другому. Кто-то не остался, потому что ушел, как ушла сейчас Лека, кто-то не дает о себе вестей из другой жизни, кто-то сам стал другим. Надо ли вспоминать? Пусть больно, но надо.

*Улицей воспоминаний,
Счастьем, канувшим во мрак,
От свиданий до свиданий...*

(Церковь. Кладбище. Кабак.)

Это написано еще в 1984 году, но эти энергичные и жесткие строки – навсегда.

Я приезжал почти каждый год, и встречи с Лекой всегда были праздником. Хотя у нас у каждого была своя жизнь, и это нормально. Лека была общительной, к ней тянулись люди, и я был рад, что в нелегкие времена (да когда они были легкими?) она не одна, и есть с кем общаться и даже с кем выпить.

Но... что мы знаем друг о друге, о другой душе, даже душевно и духовно близкого человека? Еще меньше, чем о себе самом... только вот стихи приоткрывают душу, ее смятение и боль. Но вот не всегда читаются так, как написаны, и только после ухода поэта открывается (а ведь читал раньше, и не видел!), что все равно одиночество не оставляло ее – одиночество души.

*Электричества соками теплыми
Наливаясь, сгущают тьму.
Я укроюсь в кафе за стёклами,
Даже выпить себе возьму.*

*Отливая янтарным золотом,
Покачнется в рюмке коньяк.
Ветер с моря пронзает холодом,
И вообще... как-то всё не так...*

*Что за блажь – в одиночку спиться-то!
Визави со мной посиди.
Заплутавшей в метели птицею,
Сердце бьется еще в груди.*

Да, всем знакомо это ощущение неблагополучия, что в христианстве называют богооставленностью. Только поэт пишет об этом, не щадя себя. Была ли Лека счастлива в последние годы, несмотря на проблемы, болезнь? Не мне судить.

*Мне б сейчас нагишом да в воду,
Чтоб опять обрести свободу
И полета, и колдовства!
Только вот не взлететь над миром,
Заточенная в душной квартире,
Я уже ни жива, ни мертва.*

Да, только поэт может быть так откровенен. Хотя... помню, как еще в конце 90-х Лека мне как-то сказала, довольно неожиданно, поскольку она всегда была настроена критически к любой власти, любому строю. Да, так она сказала, что сейчас время молодых. Я возразил, что любое время – время молодых. Нет, она сказала, наше время таковым не было, у нас на пути всегда, как бревно, лежало государство.

Что ж, она была права, все-таки «свобода есть свобода есть свобода» (это уже из моих стихов), но и свобода, не только внешняя, но и внутренняя (которой Лека обладала вполне), не избавляет нас от одиночества, богооставленности, смерти – от ухода в вечность. «Какие на нас у вечности планы?» – надо все же обладать этой внутренней свободой, чтобы так написать.

Да, стихи изменяются, когда поэт уходит. И чуть ли не каждая строка звучит как прощальная.

*Ну, что же, маши рукой, провожая в синь
Веселых птиц, оторвавшихся от земли,
Читай судьбу на цветных ладонях осин,
В конце концов... мы делали, что могли...*

Да, это так, и стихи ушедшего поэта тому свидетельство.

А теперь, Лека, если ты все же слышишь нас, меня (а я верю, что это так), то вот тебе мой прощальный подарок, нет, не прощание, а залог будущей встречи.

Памяти Леки

*Прощание почти что на бегу...
Елена Дымарская*

До встречи, конечно, до встречи!
Теперь мы навеки друзья.
Мы там, в поэтической речи,
Где нам разминуться нельзя.

И волны, и вольное горе,
Пусть рифма банальна, ну, что ж,
Здесь берег Балтийского моря,
Куда ты, конечно, придешь.

И проблеск осеннего света,
И слез на ветру не сдержать,
И как золотая монета,
Закатное солнце опять

Скрывается за море, точно
За гранью, что не перейти,
И все же какую непрочной...
Прощай же. До встречи. Прости.

2013

ИЗ ЦИКЛА «КОГДА ВРЕМЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ»

1

Часовых дел мастер
продаёт время:
он нанизывает его
на длинный шнурок
от своих очков
и выдаёт
строго по минуте
в одни руки.
Каждый раз,
когда время заканчивается,
он зачерпывает его
из большой кадучки,
так, чтобы никто
не видел,
и что-то бормочет
под нос.
Я – последняя
в очереди
и очень боюсь,
что мне ничего
не достанется,
но, получив
вожделенную,
трепещущую
минуту,
я прижимаю
её к себе
и бегу наугад
в темноту,
чтобы отдать
кому-нибудь.

2

Немного про туман

На улице, прямо как в сказке,
разлились молочные реки.
Дома в медицинских повязках
прикрыли задумчиво веки.

Фонарь, одинок и простужен,
пожал безразлично плечами.
Кому, одноглазый, ты нужен?
Не снишься соседке ночами.

И в этом белёсом тумане
растаяли окна и двери.
Сквозь дырку в пижамном кармане
проходит, замешкавшись, время.

3

* * *

Нервными штрихами – ветки,
кляксами большими – птицы.
На снегу следы виднее,
чем на плоскости страницы.

В разлинованном пространстве
чёрных дыр и белых пятен
«К Вам пишу...» и мне ответ
Ваш давно уже понятен...

4

* * *

снег идёт
а день проходит
переходит
во вчера
вскользь касаясь

изголовья
не переча
а шутя

8

* * *

Рисую на
запотевшем
окне классики
и вижу,
как мотоциклист
без шлема
садится в маршрутку,
идущую на
Мангальсалу,
девочка
в зелёном платье,
немного
похожая на
пуделя,
гладит котёнка,
старушки
ворчат
о чём-то своём.
Пахнет
сиренью,
хлебом
и почему-то
скипидаром.
А дождь
идёт всё
сильнее.

9

* * *

горсть пепла,
ложка, кипятков,

стакана мокрый бок.
чернеет, стынет и зовёт
рождение чая

10

* * *

Брызгами красными
ягоды с куста
посыпались
покатились
по дорожке
асфальтовой
по крыше
автомобильной
по крыльцу
бетонному
по спине кошачьей
серой
по рукам моим озябшим
к ногам твоим

11

* * *

Я смотрю, как войлочные облака
вползают в окно напротив,
как они толкаются в очереди,
как трутся друг о друга боками.
А обратно вылетают птицы
и расчерчивают тусклое небо
водяными иероглифами.
Это и есть первый день весны.

12

хочется пальцем потрогать
лиловые мягкие тучи,
зелёной травинкой потыкать

и ждать, когда же начнется
гроза, что в начале мая

* * * * *
* * *

Смотрит в окно
одиноким старик
поздняя осень

в белых гольфах
яблони в саду
потупились: утро

на лице куклы
рисуя слёзы
а она смеётся

обручальное кольцо
на переплавку:
новая любовь

мокрыми зонтами
заполнился вагон –
конец работы

Белла Берзиня

СУХАРИ

Лето омывает меня волнами.

Я сижу в капитанской рубке старой деревянной яхты. Юный матрос смотрит вдаль, в поисках неизвестно чего.

Я люблю водить пером по бумаге и слушать его шуршание. Иногда скрип. Перо мне подарил дед, в честь окончания школы, видно, на что-то надеясь. На меня?

Солнце сегодня хорошее: мягкое и золотисто-белое. Оно поблёскивает на мелких волнах и нагревает доски на палубе. Иногда мне нравится их мыть, чистить, чтобы не осталось ни единой соринки. И когда она чистая-чистая, мы с матросом становимся на бортик и прыгаем в воду. Яхта остаётся без управления, а мы плаваем вокруг неё и смеёмся над глупостями, которые сами же и говорим. Наш возраст совсем не имеет значения. Хотя мы много говорим об этом. На секунду отдаляемся от момента рождения, на секунду – к моменту смерти. Хотя он не кажется реальным. Как, впрочем, и момент рождения. Я его не помню, и для меня он менее реален, чем жизнь молочника в средневековье.

– Давай поближе к людям подплывём? – просит матрос, когда я выхожу к нему.

– Давай. Мы так далеко уплыли, кажется, мы совсем одни на земле, а все куда-то пропали, уехали. Представляешь, если бы все собрались и уехали с Земли, а кого-то забыли? И этот кто-то ходил бы, бродил по свету. Гулял бы по городам, спокойно осматривал картины в музеях и перекусывал в любом кафе, потом бы взял и уехал куда-то на большом корабле. Такой маленький. А потом умер от одиночества.

– Грустно, но что-то в этом есть. Поможешь леску распутать?

Спустя час на борту барахталась некая рыба, а мы, положив удочку, молча смотрели в море. Скоро апатия привела к грусти, и мы применили лучшее средство, чтобы её разогнать – уборку. Матрос почистил рыбу, на мою долю досталось мытьё кухни со скромным количеством посуды.

Мы быстро приближались к берегу, и мне время от времени приходилось выбегать из кухни, чтобы посмотреть на город.

Аппетитно запахло рыбой, меня замутило от голода.

Остановив яхту напротив города, но недостаточно близко, мы

взяли свой ужин и сладкое – сухари и чай, и сели около бортика.

– Как думаешь, скоро мы там окажемся? – спросил матрос, глядя на город с недоверием и любопытством, ведь он там никогда не бывал. И я знаю, мы там никогда не окажемся вместе.

– Единственное, что я знаю: мы будем ужинать, глядя на этот город.

Матрос раним.

Пока мы сидели, думая о том, да о другом, солнце за нашими спинами садилось, освещая город тёплым, красноватым светом. Начали загораться редкие пока огни, но чем более синим становился воздух, тем больше загорались фонарей и лампочек.

Мы молча наблюдали перерождение города.

– Красиво, правда?

– Да, – ответил матрос. – Возможно, это один из тех моментов, когда должно быть не жалко умереть, но мне так жаль, я так мало увидел. И вообще, в моей жизни не произошло ничего плохого, ничего выдающегося, но если подумать, то много было хорошего. Такого простого, житейского. Детство, родители, сестрёнка, даже наши с тобой дни, проведённые тут, – это настолько прекрасно, что мне страшно.

Мой взгляд опустился на воду, которая негромко плескалась внизу, и, казалось, безмолвно участвовала в нашем разговоре.

На моей душе стало весело от сознания того, что мой друг – матрос, такой хороший.

– У нас есть изюм?

Матрос покачал головой:

– Изюм ещё неделю назад закончился.

– Правда?

– Да. И сухарей мало осталось, – он неуверенно на меня покосился, словно ожидая, когда я заговорю о...

Нет. Закончить это предложение для меня – вроде как убить заранее.

– На пару дней хватит?

– Хватит.

– Вот и хорошо. А представляешь, кто-то там сейчас сидит в ресторане и заказывает шикарный ужин с выдержанным вином, а за соседним столиком люди с набитыми желудками смотрят на оркестр

и громко говорят о каких-то случаях, мужчины вспоминают, как в армии служили, истории рассказывают. А дети перекатывают по столу хлебные крошки или уже гулять убежали.

– Да, для меня – ребёнка – не было ничего прекраснее, чем те вечера, когда мои родители ужинали с друзьями, неважно где – в ресторане или в дешёвой забегаловке. Мы играли с их детьми. В темноте нет ничего приятнее, чем знать, что ваши родители где-то рядом и никуда не уйдут, сидят и мирно беседуют, а вы можете изучить ближайшие территории, собрать улики, придумать истории и разыграть сценки, но если вдруг станет страшно, неважно, от темноты или чего-то другого, тебя кто-то обидит, ты можешь прибежать к маме, сесте рядом, есть хлеб с маслом, слушать взрослые разговоры и ощущать тепло маминого тела.

– А мои родители редко брали меня куда-то, чаще отправляли к бабушке, и мне было так одиноко. До сих пор помню воображаемые рестораны, веселящихся в моём воображении родителей, которые то танцевали, то ели мороженое. А бабушка сидела на своём полосатом диване и смотрела телевизор с чёрно-белыми новостями и фильмами. Мои пальцы были липкими от варенья, и было сложно спокойно смотреть телевизор. Сидеть на корточках около подлокотника, положить на него голову, облокотиться о стеллаж, потом сползти на пол и смотреть телевизор сквозь стакан, стоящий на столике. Когда бабушка отрывалась от квадрата мнимой жизни, мы играли в шашки. От того, что я с бабушкой только тогда, когда мне грустно, моя грусть только увеличивается. Ведь бабушка заслуживает радости.

Скоро стемнело так, что черты лица матроса стали еле различимы. Похолодало, и мы, оставив тарелки на полу, спустились в каюты за тёплой одеждой, быстро

выбежали обратно и сели на нагретые места.

– Думаешь, много людей уже по домам разошлось?

– Не думаю. Погода отличная, время одно из лучших в году. Глупо идти домой. Так сильно сейчас чего-то вкусного хочется, – я не могу не согласиться с матросом.

Можно взять сухари, но меньше на завтра останется. Хотя, какая разница? Сейчас так хорошо, что не по-честному это – оставлять сухари плесневеть на кухне.

Пока матрос созерцает прекрасный городок, я завариваю чай и забираю остатки сухарей у нас завтрашних.

- А что потом есть будем? – спросил матрос.
- Что-нибудь.
- Как знаешь.
- Как знаю.
- Давай ещё чуть поближе подплывём? – надежда.
- Не сегодня.

Мы смотрели вперёд, сухари хрустели где-то в области зубов мудрости, город всё же затихал.

Матроса начало клонить в сон и показалось, что сейчас он упадёт в воду. По мне, это лучше, чем ему сейчас идти спать, с моей – эгоистической – точки зрения. Поэтому пусть клонится, зато потом мне придётся прыгать в воду, спеша на помощь. Затем мы будем обсыхать, а матрос рассказывать, как это происходило и мы проводим этот город ко сну и первыми встретим рассвет, потому что в море мы ближе всего к солнцу.

Но прошло время, а матрос всё не падал. Прилёг на пол и прикорнул.

И когда тьма побледнела, на чёрно-синем небе появились пятна чего-то светлого, пока холодного. Мне стало страшно. Лучше уйти вниз. Один человек слишком слаб, чтобы встретить пробуждение Мира в море. Пару раз толкнув матроса в бок, мне удалось его разбудить. Он, вслепую следуя за мной, спустился в каюту и спросил:

- Я долго спал?
- Не слишком.
- А ты?
- Город затих. Занялся рассвет. Похолодало. Лучше здесь побудем.
- Мне снилось, что я бродил по саду, искал... а в комнате моей сестры жила женщина, с цветами.
- Хорошо, что мне ничего не снилось. Не хочешь ещё поспать?
- Нет. А тебе не надо?

Моё тело наполнила такая усталость, что не хватает духу отказаться. Глаза уже слипаются. Забираюсь под холодное одеяло. Тело пробирает дрожь. Внутри потеплело, и меня одолел сон.

Из темноты появляется город, мокрые булыжники, матрос проезжает мимо на машине, с ним какие-то люди. Я оглядываюсь вокруг и захожу в кафе. Тепло. Сажусь за столик и смотрю в окно. Туда, где сквозь дымку, сквозь холод, сквозь запах дождя пробивается солнце.

Я решаю остаться тут.

РАССКАЗЫ

Б.Д.

В сентябре ещё тепло. Солнышко, лёгкий дождик, листопад. Осень подкрадывается, но длинные, узкие вертикальные форточки на кухне еще открыты по-летнему. Вы втроём сидите на кухне, ты на моём месте, и читаете письмо.

Помнишь?

Единственное, которое я написал из колхоза. До писем ли было... Хотя – делать особенно было нечего – картофельные поля и сельский магазин с плодово-ягодными винами по рубль семьдесят. Ещё душевая на три кабинки, раз в неделю.

Ты читаешь (кто ещё может разобрать мой почерк): «... кормят хорошо, утром у выхода из усадьбы, где мы живём, два бидона – один со сметаной, один с молоком. Это перед завтраком... работа не тяжёлая... по вечерам музыка, у нас есть магнитофон и одна кассета на литовском языке. Типа танцев. Танцевать особенно не с кем, у нас в группе всего 8 девочек, да и те “Д”»

... Папа не понял: “Что значит “Д?” Ты у нас сообразительная, объясняешь: “Дуры”. Мама добавляет: “Хорошо, что не “Б”».

Ты, хоть и сообразительная, но ещё маленькая (жизни не знаешь), спрашиваешь: “А что такое “Б”?” Мама (а кто же) выходит из положения: “Большие дуры”.

... ну, помнишь?

ПОМНИШЬ?

66 год.

Мы живём на даче, в Майори. Снимаем сырую уютную веранду. Уже с полгода, как нас четверо. Ты грудная, сосёшь сиську, орёшь и писаешь.

Орать ты перестанешь нескоро. Сначала я буду долго тебя воспитывать, лет 18. Потом отпущу, вернее – толкну, в свободный полет.

Ты летаешь-покувыркаешься, съешь несколько лягушек... найдешь самого лучшего в мире индуса и успокоишься. Через 40 лет ты нарисуешь свой лучший рисунок к моей единственной незаконченной “повести”...

А мама всё время по хозяйству.

А папа получил орден. Его (орден, не папу) вчера “обмывали”. Какие то мужики-железнодорожники сидели на веранде, пили водку, курили и громко смеялись. Тебя мама отнесла к Хаскиным, в соседнюю комнату, не веранду. Там всегда тепло (если надо, натоплено), тихо и пахнет котлетами.

... Да, орден – знак почёта. Папа у нас начальник станции Шкиротава, скоро его повысят, потом ещё повысят, дадут трехкомнатную квартиру на москачке, а потом, через 15 лет, подстроят поджог и уволят с железной дороги. Потому что он еврей. Но он не только еврей, он ещё и коммунист, поэтому не поверит, что это антисемитизм и, по-моему, так ничего и не поймёт. Потом друг, как оказалось – настоящий, – Вася (не еврей) буквально спасёт папу. А в 90-х они с мамой уедут в Израиль, папа сначала будет работать дворником, потом столяром. А потом они поселятся в Беньямине, на берегу моря, и папа станет простым израильским пенсионером. Мама по хозяйству – это сейчас. Но ты будешь расти, и она будет всё меньше заниматься хозяйством и тобой. Будет всё больше работать. Станет председателем какого-то общества или комитета (у нас есть блюдца с красным крестом из этого комитета), будет лучших доноров посылать (за границу), а некоторых нерадивых подчиненных – куда подальше...

Трудно представить в те годы, что папа с мамой станут израильтянами, пенсионерами, сионистами, будут жить в Беньямине. Мама овладеет компьютером, интернетом и будет вести активную виртуально-общественную деятельность, опять станет своего рода “председателем”.

Квартиру на москачке мы получим как раз там, где во время войны было гетто, а на Шкиротава, где работал папа, во время войны свозили евреев со всей Европы... Но я об этом узнаю через 20 лет, во время перестройки....

А сейчас я в полосатой майке-тельняшке, шортах и сандалиях сижу у соседей по даче, на табуретке, прислонившись к стене.

По телевизору – финал чемпионата мира по футболу: Лондон, Англия-ФРГ, 4:2. Английская королева вручает англичанам кубок –

золотую богиню. В течение следующих 45 лет им не светит ни финал, ни тем более богиня. Через 4 года бразильцы в третий раз станут чемпионами мира и навсегда заберут богиню. Я сижу на табуретке, ем белый хлеб с маслом и котлеткой, разрезанной пополам вдоль, смотрю на королеву и не знаю, что через 30 лет в Лондоне увижу её наяву, а через 40 лет получу от неё письмо.....но это уже другая история.

19.10.2011



Борис Равдин

«САЛАСПИЛС»

В ПИСЬМАХ ИЗ «САЛАСПИЛСА» И ГАЗЕТНЫХ СТАТЬЯХ 1942-1944 гг.

(Штрихи и детали)

Латвия (Латвийская ССР) была занята войсками Германии в июне-июле 1941 г. Наряду с Литвой, Эстонией, частью Западной Белоруссии, Латвия (Генеральный округ Латвия) вошла в административно-территориальную единицу «Остланд», образованную в середине июля 1941 г. Практически одновременно с «Остландом» возник «проект» создания на территории Латвии нового пенитенциарного учреждения, поскольку наличная сеть аналогичных учреждений в Латвии не отвечала нуждам и представлениям оккупационного режима. В течение нескольких месяцев в обсуждении и столкновении находились две концепции использования перспективного полицейско-карательного пространства. Местная пенитенциарная площадка при тюрьмах и изоляторах, переполненных в рамках «санации» завоеванного пространства, не позволяла в должной мере обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность (при постоянном опасении пандемии среди заключенных, могущей затронуть не только тюремную охрану, но и армию), лишала возможности последовательно разделить заключенных по национальной, социальной политической, возрастной и пр. окраскам, вносила затруднения в трудовую эксплуатацию заключенных и т.д. Был и другой вариант использования лагеря – по одному из принятых в национал-социалистической Германии образцу – ликвидация на территории Латвии всех гетто и «переселение» их обитателей в концентрационный лагерь. Существовал и третий вариант: в виде одновременного использования лагеря как для евреев (рижских и перемещенных из ряда европейских стран), так и для других категорий заключенных, – что тоже вполне соответствовало тогдашней германской практике. После относительно длительных поисков было выбрано место для лагеря – поселок Саласпилс (в немецкой традиции: Kurtenhof) – вблизи Риги, на удобном транспортном участке вдоль линии железной дороги Рига-Даугавпилс-Москва, по которой, при

необходимости, могла осуществляться транспортировка заключенных в разных направлениях. Однако, после ноябрьских и декабрьских акций 1941 г., по физической ликвидации обитателей рижского гетто числом более 25 000, стало понятно, что оставленными в живых местными евреями и «заграничными» планируемый лагерь не заполнить, разве что обеспечить регулярную поставку «заграничных»... Идея строительства лагеря вместимостью в 25 000 была отставлена и заменена на более «скромное» учреждение, на порядок меньшее против замышлявшегося ранее, но, при необходимости, способное к расширению. В процессе планирования и начального этапа реализации замысла возник т.с. спор «хозяйственных субъектов»: будет ли лагерь находиться в ведении местной (оккупационной) администрации или «владельцем» его будет «Главное экономическое управление СС», с февраля 1942 г. ведавшее концлагерями. Возможно, отражением этого спора является упоминание Главного управления концентрационных лагерей (Инспекция концентрационных лагерей?) как инстанции для подачи «жалоб и предложений» в февральском 1942 г. письме К.Фельдманиса (см. ниже), одного из заключенных Саласпилса.

Правители областей, гауляйтеры, обладали огромной властью, самостоятельностью в решении ряда важнейших вопросов и предпочитали не «делегировать» свои полномочия Берлину. «Саласпилсская прят» закончилась в пользу местной администрации, тем более, что на строительство и эксплуатацию лагеря в Саласпилсе Остланд, как считается, не запросил из Берлина ни копейки, деньги изыскивались преимущественно за счет трудовой эксплуатации заключенных, военнопленных, обитателей гетто.

Так внутриведомственные распри, своеобразная гибкость главы СС Г.Гимmlера, финансовая независимость Остланда и прочие причины (среди которых иногда называют и неудачную для Германии московскую операцию зимы 1941/42 гг.) помешали «Саласпилсу» стать концентрационным лагерем по образцу, как одно время намечалось, Заксенхаузена. Но полноценный концентрационный лагерь в Латвии все же возник, правда, несколько позднее – весной-летом 1943 г., когда в рамках реструктуризации лагерной системы, повсеместной ликвидации гетто ведомство Гимmlера распорядилось о создании в Латвии «своего» концлагеря, получившего название «Кайзервальд» (по месту образования, на окраине Риги, Межапарк = Царский лес = Кайзервальд).

«Саласпилс» шел по разряду «Расширенных полицейских тюрем», но в живом языке именовался концентрационным лагерем, отчасти – в связи с эмоциональной насыщенностью словосочетания. Эта двойственность (то ли тюрьма, то ли концентрационный лагерь) коснулась даже языка некоторых берлинских учреждений, без каких-либо формальных оснований одно время числивших Саласпилс в статусе «концентрационного лагеря», чем он, повторим, ни по административному подчинению, ни по уставу (все же, насколько можно представить, несколько отличному от положений, принятых в концентрационных лагерях) не был. Такая терминологическая путаница коснулась многих тюремно-лагерных объектов нацистской Германии. По наблюдению некоторых исследователей, в эпоху Третьего рейха в Германии можно насчитать более 15 типов тюремно-лагерных объектов, то в меньшей, то в большей степени отличавшихся друг от друга по разным параметрам, но в массовом сознании, даже можно сказать, – в культуре, все они объединяются одним понятием – «концентрационный лагерь», как слово «немцы» когда-то в России было синонимом слова «чужестранцы». Как известно, с устоявшимися языковыми определениями, в основании которых лежит чувство (в т.ч. и эксплуатируемое), традиция, принцип языковой экономии и т.п., спорить в расчете на победу почти бесперспективно, но и уступать без боя – недостойно.

Строили лагерь довольно долго, полгода, отчасти в связи с отсутствием квалифицированных строителей среди согнанных на стройку, отчасти из-за нехватки стройматериалов, отчасти из-за морозов, возможно, из-за недостаточного финансирования... Строительство началось в конце 1941 г., первая очередь, приблизительно на тысячу человек, была готова только к середине лета следующего года, но бараки с заключенными постепенно заполнялись и ранее середины лета. Как считается, на строительстве было занято около 2 000 заключенных-евреев, в основном, европейских, около 300 советских военнопленных, какое-то количество заключенных из латвийских тюрем, были и вольнонаемные строители.

«Саласпилс» именовался «Расширенной полицейской тюрьмой» недолго, уже весной 1942 г., при еще недостроенном лагере, потребовалось несколько скорректировать название, поскольку было принято решение использовать Саласпилс и для кратковременного

заключения «нарушителей трудовой дисциплины» (прогульщики, бездельники, тунеядцы и т.п.), мелких (и крупных?) спекулянтов...

В конце апреля 1942 г. этот вопрос был решен – «Расширенная полицейская тюрьма» преобразилась в «Расширенную полицейскую тюрьму и лагерь трудового воспитания». В Германии такого типа лагеря, служившие для перевоспитания, получили распространение еще в довоенные годы как инструмент «выправления» человека и гражданина. Для нарушителей трудовой дисциплины сроки пребывания в лагере были незначительны – от нескольких недель до нескольких месяцев, воспитательная мера определялась в административном порядке.

В открытой печати Латвии угроза Саласпилсом прозвучала не позднее декабря 1942 г. в статье «Бездельников научат достойно трудиться», где речь шла о том, что повторно забывшие о своих трудовых обязанностях будут помещены в Саласпилсский лагерь принудительного труда, где за шестинедельный срок научат достойно трудиться. Статья завершалась фразой, свидетельствующей о том, что Саласпилс уже принимал эту категорию «штрафников»: «Кое-кто уже учился там правильно уважать труд и вновь стал достойным членом своего народа». В статье «Наказание за уклонение от труда» приводились имена лиц на три-четыре недели помещенных в Саласпилс. В статье «Грозное наказание за сознательное уклонение от работы» речь шла уже о 12 неделях заключения, позднее встречается упоминание о 14 неделях. «Воспитательный» характер Саласпилса подчеркивался и в статье «Больше внимания надзору за средствами передвижения», где, в частности, сообщалось о том, что похитители велосипедов и прочих транспортных средств после отбытия наказания должны будут познакомиться с Саласпилсским лагерем, «где в принудительном порядке им придется научиться уважать честный труд». Такая административная мера воспитания для «повторников», уже отбывших тюремный срок, судя по статье «Беспощадную борьбу бесчестным» от лета 1944 г., – новинка в практике оккупированной Латвии тех лет и, наверняка, не местное изобретение, таким же заимствованием являлось и словесное оформление меры и степени «трудоустройства» – это была лексико-стилистическая прерогатива СССР и национал-социалистической Германии.

В зависимости от ситуации менялся характер лагеря, временами

лагерь становился многофункциональным. В реальности Саласпилс был не только расширенной полицейской тюрьмой, не только лагерем «трудового воспитания», но, по необходимости, и фильтрационным лагерем, транзитным, пересылкой. Зимой 1943 г., в антипартизанской карательной операции в Остланде, в создании зоны отчуждения на территории Западной Белоруссии, – в Саласпилсский лагерь согнали значительное число (цифры колеблются) женщин и детей. Чуть позднее большинство женщин, насильственно отлученных от детей, вывезли на работу в Германию, много детей погибло по причине голода, холода, болезней, насильственного обращения, часть детей была взята на воспитание или отдана в малолетние батраки. Число детей, участь детей Саласпилса – один из самых острых вопросов в новейшей историографии Латвии, предмет неутомимых и болезненных дискуссий, в особенности, когда речь идет о проблеме принудительного детского донорства в Саласпилсе.

Одно из первых сообщений открытой печати о принудительном донорстве в Саласпилсе появилось в комсомольской газете «Jaunais Latvietis», нелегально издававшейся с июля по декабрь 1943 г. в Белоруссии, на границе с Латвией. Статья из «Jaunais Latvietis» была перепечатана в центральной коммунистической газете Латвии – «Cīņa». Дети-принудительные доноры в ней не упоминались, речь шла только о юношах: «В тюрьмах и концентрационных лагерях томятся сотни юношей. В Саласпилском концентрационном лагере из заключенных юношей фрицы качают кровь для своих раненых. Из каждой намеченной жертвы кровь качают по несколько раз, пока течет. А юноши эти потом умирают. В Риге все чаще пропадают юноши, которых позднее находят с выкаченной кровью». Позднее, осенью 1944 г., после вступления на территорию Латвии Красной армии, возраст принудительных доноров был снижен с юношеского на детский. Кроме массовых свидетельских показаний, обобщенных в «Обвинительном заключении по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Латвийской, Литовской и Эстонской СССР», документальных данных о принудительном детском донорстве в Саласпилсе и вообще где бы то ни было, – не обнаружено. Не исключено, что тема насильственного донорства – след давнего фольклорного представления о вампирах, актуализированного в антинемецкой пропаганде периода Второй мировой войны. Трудно

сказать, кому принадлежит приоритет в осовременивании этой темы – советской или англо-американской пропаганде. Насколько тема принудительного детского донорства как знак изуверства нацистской Германии была распространена в союзнической пропаганде, следует хотя бы из соответствующего эпизода просоветско-антифашистского фильма «The North Star» (США), вышедшего на экраны в начале ноября 1943 г. Однако показательно, что по сведениям украинского национального фонда «Взаимопонимание и примирение» детям-донорам, «у которых брали кровь для солдат Вермахта» Германия обязалась выплатить по 1 533,87 евро.

Отметим еще, что, по свидетельству одного из заключенных Саласпилса, среди взрослого «населения» Саласпилса донорство, судя по письму – добровольное, практиковалось.

* * *

Первоначальное представление о том, что в лагере содержались исключительно советские люди, преимущественно, старики, женщины, дети, советские активисты, постепенно менялось. К сегодняшнему дню достоверно известно, что в Саласпилсе в заключении находились и цыгане, и представители латышского национального движения, в том числе, пусть недолго, и сын первого президента Латвии – Константин Чаксте, и литовский генерал П.Плехавичюс, и латышские легионеры, и служащие полицейских батальонов из Латвии, Литвы и Эстонии – нарушители воинской дисциплины, дезертиры из этих соединений, и нарушители трудовой дисциплины, и задержанные за спекуляцию...

В последние годы среди историков Саласпилса приняты несколько иные, нежели прежние, рубежа XX-XXI вв., цифры прошедших через лагерь. Поспешные и несколько вульгарные заключения некоторых новейших исследователей – сегодня дезавуированы в основополагающих работах по истории Саласпилса. Благодаря ряду работ последних лет, в основном, представленных в издании «Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti» и в некоторых немецких изданиях конца 1990-х гг, стало понятно, что за два с половиной года своего существования, в зависимости от ситуации, Саласпилс то расширял, то сужал свои карательно-полицейские функции. Выявленный сегодня, в первом приближении, реальный состав заключенных Саласпилса,

история противоборства СС и администрации Остланда по вопросу предназначения и административного статуса лагеря, в той или иной степени критическое отношение к советской историографии со всех сторон, – несколько умерили недавнее (два последних десятилетия) противостояние публицистов и журналистов по вопросу о том, что же такое Саласпилс, как следует именовать лагерь, сколько людей прошло через Саласпилс, сколько погибло, какова судьба детей, оказавшихся в лагере... Все эти вопросы, на наш взгляд, имеют не столько исторический характер, сколько психологический, культурологический. Известно, что саласпилсская внутрелагерная документация погибла. Но советская историография Саласпилса, сложившаяся по горячим следам в послевоенный период, как правило, не слишком нуждалась в документах – историю лагеря она строила преимущественно на свидетельских показаниях, широко применяя при этом метод экстраполяции, заботясь не столько о фактическом правдоподобии, сколько о психологической (с определенных позиций) достоверности изложенного, подготовленной всем опытом и традицией военной пропаганды.

Другая сторона, в основном представленная историками современной Латвии, настаивает на том, что воспоминания свидетелей непременно нуждаются в документальном подтверждении, что к воспоминаниям, материалам допросов и прочим субъективным показаниям, в особенности, советского периода, следует (за некоторыми исключениями) относиться даже не критически, а гиперкритически. Позиция понятная, в основном, верная, разве что иногда случается вместе с водой выплеснуть и ребенка.

Сегодняшняя история Саласпилса – это в значительной степени реконструкция, где отсутствие, неполнота документальных данных дают неограниченные возможности для трактовок в любом направлении. И все же, по мере обнаружения реальных документов, на наш взгляд, пыл противоборствующих сторон на градус-другой снижается, что не исключает взрыва, каким, например, сопровождалось издание книги «История Латвии XX век» (Rīga. Jumava. 2005), где, к возмущению части читателей, государственных и общественных учреждений, Саласпилс был обозначен всего лишь как «Расширенная полицейская тюрьма и лагерь трудового воспитания» (при насыщенном описании принятых в этом заведении изуверств).

Случай «Саласпилса» лишь один из многочисленных аналогичных, но для Латвии весьма болезненный.

Ниже публикуются связанные с Саласпилсом две статьи из коллаборационистской газеты «Tēviņa» военных лет и несколько писем заключенных Саласпилса родным и близким. За некоторыми исключениями, письма тематически близки. Да и о чем может писать заключенный, да еще с учетом цензуры, а иногда даже и без ее учета... Напомним пару строчек из книги А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»: «Писать теперь – что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло – тому отзыва нет. Не напишешь, в какой бригаде работаешь, какой бригадир у тебя Андрей Прокофьевич Тюрин. Сейчас с Кильдигсом, латышом, больше об чем говорить, чем с домашними». Все так и было в Саласпилсе, да не совсем, в особенности, если родные и близкие твои живут неподалеку, если можно надеяться на их помощь пропитанием, о котором в голодном Саласпилсе нельзя не думать... Судьба родных и близких все еще волнует обитателей Саласпилса, обязательный привет им, в том числе и как доказательство собственного присутствия на земле. Наверняка, какие-то письма были рассчитаны на домашнюю семантику, на слова-сигналы, – нам не разобрать...

Письма публикуются по оригиналам из Военного музея Латвии, Музея оккупации Латвии и Национального музея истории Латвии.

В фондах Военного музея (далее: LKM) чуть более 20 писем (включая пустые конверты) от почти 15 адресантов за март 1942 – август 1944 г. Там же находим и традиционные для лагерной жизни карандашные зарисовки (точнее – один портрет), с любовью выполненную цветную поздравительную открытку, тетрадь с записями песен (в т.ч. и перевод на лат. язык известной грузинской песни «Сулико») ... В Музее оккупации Латвии выявлены два корреспондента из Саласпилса. Соответствующие письма должны быть и в Государственном архиве Латвии, но к сегодняшнему дню эти письма в архивных описях прямо не отражены, учитываются лишь в сводных списках. Письма из Саласпилса входили в сборник «Ienaidnieka aizmugurē» (Rīga. Zinātne. 1987), публиковались и в некоторых других изданиях.

Перевод статей и писем – И.Ц.

Написанное по-русски письмо К.Фельдманиса печатается с соблюдением современных норм правописания и сохранением некоторых авторских особенностей письма.

Из Верманского парка в Саласпилсский лагерь. Что найдено в 200 портфелях и карманах. – Начинают спекулировать сигаретами и кончают – торговлей оружием и патронами

Недавно чиновники по надзору цен совместно с военным патрулем и полицией проверяли рижскую зеленую зону и Верманский парк, где всё ещё собираются спекулянты и бездельники. За последние четыре дня задержано около 200 сомнительных лиц. У них в портфелях и карманах обнаружено много бутылок водки и спирта, заграничные сигареты, расчески, нитки, чайные стаканы и другие нормированные товары. Большое удивление вызвал молодой человек, который выдавал себя за музыканта государственного учреждения. В его портфеле и карманах нашли 5 кошельков, несколько банок сапужной ваксы и крема для кожи, бутылку тоникума, краску для одежды, кусок оловянной проволоки и продуктовые карточки, которые выдаются только служебным лицам. Виновный оправдывался, что получил эти вещи в каком-то магазине, где местному населению делать покупки запрещено, а он имеет на это право, потому что ему там шьют фрак. Странный случай выясняют немецкая и латышская полиция.

У другого нашли более 1000 рейхсмарок и чайные стаканы. На деньги наложен арест. У 18-летнего юноши нет при себе паспорта или других личных документов, зато есть коробки с сигаретами и папиросами, с кремом и другие вещи. Он оправдывался, что это ему присылает «дядя» из Германии.

Характерно, что все задержанные, многие из которых уже хорошо известны учреждениям надзора, оправдывались, что они только «проходили» через Верманский парк. То же самое говорит и какой-то мужчина, задержанный с кастрюлей-электроваркой. Изрядной части этих лиц давно уже пора быть в деревне, поскольку с работы они уволены. Другие предъявляют справки от врача с предписанием постельного режима.

Задержанным грозит крупный денежный штраф. Тех, кто уже несколько раз были замечены в Верманском парке, не работают или уклоняются от настоящей работы, сдают в распоряжение немецкой

полиции безопасности, таким образом кое-кто уже оказался в Саласпилсском трудовом лагере.

С какой легкостью молодежь оказывается на преступном пути, ярко показывает то, что на скамье подсудимых скоро будет находиться группа 15-18-летних парней. 16-летний Зариньш приехал из деревни, но отец ему запретил бродяжничать по городу. Приехав в следующий раз, он больше не пошел к отцу, а вместе с 17-летним Зенкевичем спекулировал папиросами в Верманском парке. Ночи проводил на Рижском вокзале или его окрестностях. Они обходили также заезжие места и выманивали у деревенских людей водку или водочные карточки, обещая заплатить за них по спекулятивной цене. Получив водку или карточки, они расплачивались только по государственной цене. Когда жадный до наживы продавец протестовал, мальчишки приглашали его следовать за ними в полицейский участок. Разумеется, продавец водки отказывался, а молодые мошенники уходили вместе с легкой добычей.

В одну из следующих ночей парни вломились в какой-то магазин на улице Дзирнаву и украли 60 бутылок спирта по 0.25 и большое количество сладостей. Бутылки спирта они продавали в центре Риги и других местах по 50 рейхсмарок. Потом 16-летний Зариньш по спекулятивной цене купил два пистолета и много патронов. Арестованы и его соучастники – 15-летний Зепс, 18-летний Круковскис и 21-летний Йорошунс.

При проверке ресторанов на улице Дзирнаву в рабочее время обнаружено много людей, которые там пьют или спекулируют. Характерно, что в продуктовых магазинах и ресторанах на этой улице собираются не только спекулянты и неработающие, но и те, кому врач выписал бюллетень. Обо всех случаях сообщается дальше – в Управление по труду.

Вопреки многократным напоминаниям торговцы, особенно на Центральном рынке, не выкладывают цены на свои товары, хотя в правилах предусмотрено, что на каждом товаре должна быть цена. В цветочном отделе за отсутствие цен сразу оштрафовали 56 человек, а против нескольких завели дело о спекуляции овощами. Цветами торгуют, нагло заламывая высокие цены, среди таких и владельцы частных огородов, которые приносят на рынок то, что сами выращивают. Впредь Центральный рынок будет проверяться

чаще и строже, а виновные будут наказываться еще более суровым штрафом, не исключая изъятия разрешения на торговлю и отправки на соответствующую работу.

Учреждения по надзору указывают, что впредь против спекулянтов, лентяев и бездельников будут действовать с величайшей строгостью, и рано или поздно Ригу от них очистят.

Tēvija. 1943. № 204. 1 сент. С.3.

II

Вопреки общей обязанности

Если на страже безопасности нашей страны на восточном фронте стоят солдаты, жертвуя здоровьем и жизнью, чтобы отбить большевистские своры и обеспечить мирную жизнь и труд в отечестве, то, конечно, работающие на предприятиях и в учреждениях должны выполнять свои обязанности с величайшей серьезностью и сознанием долга. Поэтому злостным нарушителям трудовой дисциплины никакого снисхождения не будет. С их преступными действиями со всей строгостью борется дисциплинарный отдел Департамента труда.

Маляр Карлис Залитис, улица М. Баускас, 30 – 2, работал в Огрском похоронном предприятии. За беспорядочное появление на работе ему 3 июня прошлого года сделано предупреждение. Это не помогло, и 3. опять исчез на 34 дня. Он объяснил, что всё это время предавался пьянству. Наказание – 2 недели трудового лагеря в Саласпилсе. 23-летний Рихард Пакерс, улица Яуниела, 25/27 – 3а, оторвал от работы в железнодорожном учреждении целых полтора года. На вопрос о причинах столь долгого отсутствия он ответил: «В жизни всякое случается». Надо надеяться, что 12 недель в трудовом лагере научат его такие «случаи» больше не повторять.

43-летняя Паулине Кухта не приняла во внимание распоряжения комиссии по распределению работ Лауберской волости. Она не явилась на работу в указанном ей хозяйстве и вместо этого бродяжничала по окрестным волостям. После этого ее направило на работу Рижское трудовое управление. Через месяц она покинула и это место работы. Наказание – 12 недель в Саласпилском лагере. Сельскохозяйственным рабочим приходится поставить на вид, чтобы с подобными случаями они боролись с самого начала по собственной инициативе и сообщали

о них комиссиям по распределению рабочей силы.

Как характерный тип прожигательницы жизни дисциплинарный отдел определил 20-летнюю Мирдзу Мазере с улицы Екабпилс, 26, кв. 1. За неявку на работу в металлообрабатывающей фирме «Darba Spars» она помещена в Саласпилский лагерь на 4 недели. Наказание отбыла 26 июня прошлого года, но оно, похоже, не возымело должного действия. Мирдза на работу не явилась, а стала совершать увеселительные поездки на Рижское взморье. Надо надеяться, что 10 недель в Саласпилском лагере помогут ей усвоить представление о значении труда.

Комиссия по рабочей силе отправила работать на «Рижскую верфь» Александра Спроге с бульв. Кронвалда, 10, кв. 16а. Несмотря на предупреждение о последствиях неявки, направленный с работы дезертировал. Спроге наказан 14 неделями в Саласпилском трудовом лагере.

В дисциплинарном отделе решено также дело двух работников Рижского банка. Вообразив себя «сверхъысканными господами», они отказались от подсобной работы на общем столе банковской кухни, хотя возложенная обязанность – квасить капусту – шла на пользу как всем их коллегам, так и им самим. Виновным сделаны внушение и предупреждение.

Tēvija. 1944. Nr. 18. 22 янв. С 4.

Письма из Саласпилса

I

Автор письма – Карлис Фельдманис (Kārlis Feldmanis, 1895-1943), инженер-строитель, беспартийный. В 1939-1940 гг. работал на строительстве военных объектов Красной армии в Латвии, в 1940-1941 гг. – по той же специальности в Риге, в Управлении кинофикации. Вскоре после оккупации Латвии войсками Германии был арестован.

Публикуемое ниже письмо (минуя цензуру), было отправлено в Ригу семье Андриксонсов (с одним из членов которой – «Иванычем» – по специальности строительным техником, автор, видимо, был связан по работе). Как позднее сообщил «Иваныч» сыну К.Фельдманиса, письмо пришло из Саласпилса.

О К.Фельдманисе, как об одном из организаторов движения сопротивления в Саласпилсе, повествуется в воспоминаниях П.Коршунова-Сапожникова и Р.Веске¹⁵.

При письме К.Фельдманиса хранится записка 1960 г. его сына (Вадима Карловича Фельдманиса), откуда нами почерпнуты основные биографические данные о К.Фельдманисе, отчасти известные и по другим источникам, разве что, вопреки сведениям сына, некоторые издания советской эпохи, записывают К.Фельдманиса в члены коммунистической партии (видимо, комментаторы тех лет почти всегда вынуждены были организаторов любых форм сопротивления оккупантам числить по ведомству коммунистической партии).

Не исключено, что раннее появление К.Фельдманиса в лагере связано с его специальностью строителя.

Письмо хранится: *Latvijas kara muzejs* (Военный музей Латвии; далее: LKM). Ед. хр. 12962/14605-VII; в переводе на латышский язык фрагмент письма, с характерными сокращениями, опубликован в сборнике «*Ienaidnieka aizmugurē*». R. Zinātne. 1987». С.43-44.

24. III. 42

Милая Шурочка и Иваныч!

Существует немецкая пословица, что любовь проходит через желудок. Так и со мною – 20 марта мне вручили «пудинг»(), согласно Твоей записки. Не имею слов, как выразить свою благодарность и описать свою радость. Думаю, что лучше и понятнее будет, если опишу, как начал священнодействовать: ввиду тоски по картофелю, слопал для начала картофельные котлеты – не помню, что когда-нибудь ел такие вкусные и питательные вещи. Не успел оглянуться, как все котлеты провалились в мой китообразный желудок без всяких последствий. Чтобы поднять[!] жару, бросил сейчас же вдобавок в желудок (страшно прожорливый, как уж у кита) вареную кашу (лишь половину – вторую половину решил оставить на другой день прибавить к обеденному супу (чудесно пообедал, с своей стороны прибавил к супу 300 г. черного хлеба). Съев холодную кашу, сверху пустил белый хлеб – баранки с сладким чаем. Вечером того же дня повторил свое занятие, ел белый хлеб с топленым салом. В дальнейшие

15. См: Быль о Саласпилсе. Сборник воспоминаний бывших узников. Р. 2007. С. 123, 130-135, 137-138. см. еще: Neiburgs U. Salaspils. Mazāk zināmās epizodes // Latvijas Avīze. 2006. 28. apr. (<http://www.apollo.lv/zinas/salaspils-mazak-zinamas-epizodes/331103>).

16. Здесь – посылка.

дни прибавлял топленое сало к супу. Сегодня вторник и физическое состояние и самочувствие заметно улучшилось. Все мы тут болели ввиду систематической голодовки каким-то обжорством, которое нельзя сразу удовлетворить. Если принять во внимание наше телесное истощение, то станет понятно многое. До сих пор серьезно не болел, наверно, люди сухого телосложения выносливее других. Моральное самочувствие среднее, последнее время по вечерам находит какая-то хандра – безразличие и в связи с этим ослабление сердечной деятельности, поэтому прошу, если это Тебе возможно, передать мне лекарство, согласно прилагаемого рецепта. У нас тут лекарств никаких нет. Если такого лекарства нельзя получить, то прошу прислать какую-нибудь смесь валерьянки с камфарой.

Весьма благодарен Тебе и Иванычу за оказываемую помощь. Считаюсь в долгу на всю свою жизнь и поэтому прошу считать меня в дальнейшем членом вашей семьи. Трагедия, которую я переживаю, не из легких. Очень уж любил я свою семью, хотя не всегда мне было с ней легко. Много пришлось мне перебороть внутри себя, чтобы удержать равновесие семейной жизни. Но может быть, всё то, что случилось со мною, пойдет к лучшему. Дальнейшая жизнь, может быть, покажет, правильно ли я поступил. Много упреков я слышал, всегда поступал, как подсказывал разум, но не чувство. Держал до конца. Не жалею о случившемся горе. Ина⁽¹⁷⁾ стала вовремя самостоятельной, Вадим⁽¹⁸⁾, если жив, получит такое же образование, какое я получил во время I войны. Может быть, судьба к нему будет милостива. Уж очень я его люблю. Теперь особенно это чувствую – когда его больше нет.

В минутах первой депрессии – думаю о Вас обоих. Знаю, что я не один. О пережитом и переживаемом потолкуем в свое время. Как живете, знаем, газетку читаем.

Шурочка, напиши пару строчек, много не прошу, как живут наши знакомые. Где Федя, Володя, Артурка, Тоня Зирнис? Живы ли?

В ноябре написал прошение насчет ломбарда, но по некоторым причинам [оно] было отправлено лишь в главное управление концент<рационных> лагерей в феврале мес<яце> сего г<ода>. Там я

17. Жена автора письма; по обстоятельствам начала войны оказалась разлученной с мужем, войну пережила в Кировской области.

18. Сын К.Фельдманиса, во время войны служил в Красной армии, позднее – инженер.

прошу директора ломбарда сообщить Тебе, что доверяю Тебе регулировать дела Ины в ломбарде.

В ноябре отправил прошение к начальнику префектуры насчет моей квартиры, также написал в управление кинофикации об оставленных вещах на даче в Дзинтари, просп. 48, кв. 19. Но ни одного ответа до сих пор не получил. Через г-жу Н. получил масло 2 раза, галерт⁽¹⁸⁾, 2 пачки майги⁽¹⁹⁾, 2 пачки спичек, кусочек мыла, шкварки. Прошу передать привет и мое благодарствие г-же Н. за оказанную мне любовь.

Наш новый порядок в лагере: приношения разрешены 31 и 16 каждого месяца. Если можешь, в следующий вторник, 31 марта, мне что-нибудь принести, то очень прошу Тебя вареной картошки в шелухе, остальное по Вашим возможностям. Знаю, и вам нелегко. Табачку, папирос, последние для обмена на хлеб. Если возможно, только немного варенья или чего-нибудь сладенького. Извиняюсь за надоедливость. Попроси Иваныча зайти к г. Фромгольду – стекольщику, он в январе обещал мне помочь продуктами, пошел за ними человек и больше его не вижу. Александровская, 18 (мастерская). Живет – Мельничная, 65, кв. 5.

Еще раз благодарю за хлопоты.
Привет всем знакомым.
Ваш Карлуша

2

Автор письма – Карлис Саулитис (Kārlis Saulītis, 1903 г.р.) – в эпоху 1940-1941 гг. – зам. председателя Галгаусского сельсовета. По розыскам Ин-та истории Латвии давних лет – погиб в концлагере Штутгоф; в материалах Военного музея сохранилось два коротких письма К.Саулитиса из Штутгофа – от 23 декабря 1943 г. и 29 апреля 1944 г. – с благодарностью жене за полученные им в Штутгофе посылку и денежный перевод.

Публикуемое письмо, судя по отсутствию цензурского штемпеля, было отправлено вольным путем.

Письмо хранится: LKM. Ед. хр. 4-64507/1547-VII.

Привет, милая!

Сегодня получил вторую посылку. Эта – в еще более плачевном состоянии, чем первая. Всё в ней перемешалось с горохом. Спасибо, милая, от всего сердца. Сегодня вечером варили варенье, завтра, как и положено в субботу, будем печь блины⁽²¹⁾. Впредь, дружок, счастье нам не улыбнется, как улыбалось до сих пор. С первого августа⁽²²⁾ посылку можно получать только одну в месяц, а что сверх того – конфискуется. Значит, дружок, надо собирать эти посылки посодержательнее. Такие продукты, которые не портятся. Посылая, стоваривайтесь теперь с мамой Алберта. Каждая отдельно, одна в начале месяца, вторая – около середины, но, понятно, так, чтобы получить ее в тот же месяц. Если только повезет и ты получишь это письмо. Значит, в этом месяце можешь слать хоть каждый день. Зато потом, после 26, больше нельзя, получить не смогу. Это ограничение вводится, якобы, в соответствии с улучшением питания. Хлеба дают 500 г. в день, и другого тоже дают больше, чем до сих пор. Есть, правда, некоторые, кто имеет право получать 2 посылки, но не больше⁽²³⁾. Об этом расскажи и остальным, кому следует знать, это ты сделай, чтобы зря не посылали больше одной в месяц. Ты меня, дружок, наверно, хотела порадовать, солгав, что сено скосила, правда, прочитать ясно не мог, потому что письмо намокло. У нас же дождь каждый день, то сильнее, то слабее. Ты теперь к другу не езд, если не была еще, отложи, успеется⁽²⁴⁾.

21. Ср. письмо от 30 июля 1943 г., заключенного П.Анненса жене, где сообщалась о том, что с 10 ноября того же года заключенным запрещается готовить на огне («нам запрещено варить»), поэтому набор продуктов в будущих посылках следует соотносить с предстоящим запретом (См.: LKM. Ед.хр. 4-60059-1118(2)).

22. Вес посылки допускался до 15 кг. Ранее, как можно понять из данного письма и других писем (см., напр., ниже – письмо от 10 февр. 1943 г., подписанное – «папа») ограничений на число месячных посылок не было. Разрешение на письма: из лагеря – одно в месяц, в лагерь – без ограничений. Все эти сведения собраны на основании лагерных писем и нуждаются в проверке писанными лагерными правилами, которые, как мы понимаем, время от времени менялись, то в лучшую, то в худшую сторону. Помимо продовольственных посылок, дважды в месяц (с какого времени?) можно было порадоваться бандеролям с разной важной мелочью.

23. Очевидно, имеются в виду лица «командного» состава из заключенных, например – старшие по бараку. Ср.: Strods. Цит. соч. С.132.

24. По-лат.: «Tagad gan pie drauga nebrauc, ja neesi bijis, gan jau vēlak». О чем речь? О чем-то понятном только получателю письма?

19. От лат. «galerts» – студень.

20. «Майга» – сорт трубочного табака?

Что еще рассказать? Живем по-старому. Теперь господа другие⁽²⁵⁾, я здоров. Привет всем от меня. Только пусть Эрика не посылает, пропустит раз-другой, а то может получиться так, что получу меньшую, а твоя уплывет мимо. Домой никого не отпускают, будем жить дальше.

Целую, милая, с любовью, Карлис.

16. VII. 43. 2.

Положи кусок мыла в первую же посылку.

3

Автор письма – Александр Страутманис (Aļersandrs Strautmanis, 1910-1944) – был арестован как активный участник советского строительства 1940-1941 гг. в Лимбажском районе. В Саласпилсе, куда его перевели из Рижской центральной тюрьмы, А. Страутманис находился с начала мая 1942 г. Из лагеря он написал своей жене, детям, родителям более 70 писем, от его имени с Саласпилской почты даже была отправлена поздравительная телеграмма сыну. Первое письмо датировано маем 1942 г., последнее – июлем 1944 г. Только на одном из этих писем стоит цензорский штампель, остальные, надо полагать, были отправлены нелегальным путем и потому время от времени содержат детали, неординарные для легальных писем, в том числе и инструкции жене – как, когда и где возможно свидание на торфяных саласпилских болотах, куда часть заключенных выводили из лагеря на работу.

В конце июля 1944 г. из Саласпилса был совершен массовый побег. Тех, кого удалось вернуть в лагерь, и причастных к побегу – казнили. Среди казненных был и Александр Страутманис.

Публикуемое ниже письмо А. Страутманиса хранится: *Latvijas Okupācijas muzejs* (Музей оккупации Латвии). Ед.хр. ОMF-9577/27. Остальные известные письма А. Страутманиса хранятся там же. Краткий обзор коллекции писем А. Страутманиса в Музее оккупации см.: *Dreimane Ieskats Okupācijas muzeja krājimos un jauniešuvimos (2000-2001)*⁽²⁶⁾

25. По-лат.: «Tagad ir citi kungi, esmu vesels». И здесь не ясно, о чем речь? О том, что теперь в охране будет человек, с которым в лагерь можно будет что-то передать или, наоборот, нельзя будет ничего передать?

26. *Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2001 // Rīga. 2002. 224.-226. lpp.*

17.I.43

Привет, Аучук⁽²⁷⁾!

<...> Вот только-только, позавчера, 20 человек ошастливились и вернулись к родным, но что это [за цифра] для 2 месяцев. Окуривали бараки синильной кислотой [для дезинфекции], одного отравили – оказался запертым в бараке, когда хватились, давно уж было поздно. Призывали записываться сдавать кровь, но немного оказалось желающих, от общего числа записалось всего 6, – совсем ничтожный процент. А вчера Тоне и еще двое уехали на фронт. Домой ушли маленький повар Пуплевс и Клявиньш, готовился уйти и Кливе, но не получилось. Других знакомых не было. И Пуците живет тихо, смирился со своей судьбой. Пока ничего нового, кроме слухов.

Будь здорова и поздравь Улдиса⁽²⁸⁾ с юбилеем. Чего-то жду!

Ауцит, если можно, пришли конвертов!

Сашка.

4

Автор публикуемых ниже трех писем – неизвестен, понятно лишь, что из уроженцев Латвии, связан с городком Руйена, судя по некоторым приметам – из политических заключенных. К какому политическому течению принадлежал автор писем, неизвестно.

На письмах стоит штампель цензора: «Gepūft» (проверено).

Письма хранятся: *Latvijas Nacionālais vēstures muzejs* (Национальный музей истории Латвии). Ед. хр. 7149-s.

Привет, дорогие! Особенно Пудикку на четвертом году жизни! Мне редко удается писать, поэтому не сердитесь, что мое поздравление вышло запоздалым. Получил от вас письма и посылки, за которые сердечно благодарю. Последние присылайте реже, потому что мне еще руйенцы посылают. Лиене, яниенцы а также и жагатцы⁽²⁹⁾ прислали сухари, сахар, сыр и жиры, так что об этом не беспокойся и, главное, не отрывай у Пудика. Нам ведь дают 380 г. хлеба в день и два раза суп⁽³⁰⁾. С едой терпимо. Теперь я работаю в переплетной, делаем конверты,

27. Аучук, Ауцит – домашнее имя от «Аустра».

28. Сын автора письма.

29. В оригинальном тексте: «rūvenieši... jāņenieši un arī žagatieši»

30. Нормы лагерного пайка не были постоянны на всем протяжении существования Саласпилса.

разные книги, папки и пр. для лагерных нужд. Машины, правда, никакой нет, но всё делаем ножом и ножницами. Зато пользуемся хорошим материалом для обложек – шелк всяческих названий⁽³¹⁾. Работать хорошо – помещение светлое и чистое, всё в наилучшем порядке. У меня еще три помощника, все порядочные люди, только они не латыши, а сербы и поляк, так что разговариваем по-разному.

От Алматы тоже получил привет в виде сахара, значит, очень сладкий. Хорошо было бы ей сообщить, если возможно, чтобы прислала лекарства от простуды и головной боли. Один раз она мне уже прислала, но они уже кончились, другим тоже нужны. Мыло мне не надо посылать, потому что его дают каждый раз, как идем в баню, и еще остается лицо умыть, и для ног и у меня еще есть то, что ты прислала. Табак и папиросы тоже не присылайте, потому что я больше не курю. В этом месяце тебе надо ехать к врачу или уже была? Кто знает, стоит ли ехать? Здоровья так и так он не даст, лучше, пусть время лечит. Одни хлопоты и расходы, но если ты этим врачам веришь, я-то – нет, как-нибудь и без них поправишься. Пусть Луция сходит и расскажет, как и что – пусть просто посоветует. Мой учитель немецкого языка ушел домой, теперь опять учусь по книгам, но голова такая дырявая, что почти ничего не держится.

Ты пишешь, что так всё хорошо, только нервы не слушаются. Это не дело. Ты мне много раз говорила, что надо их взять в руки – попробуй это на себе. У меня тоже так – иногда – хорошо, а иногда – как будто небо нахмурилось. Обо мне, правда, не горюйте, я смирился, горюй не горюй, лучше не становится. И у вас такие дружелюбные и отзывчивые соседи. Не живи так одиноко и замкнуто, сходи к знакомым и друзьям, развеешься и всё будет хорошо.

Неужели и вам с Пудиком тоже придется идти на трудовую службу? Что делают мои крестные Василий с Карлисом, у них работы много? Напиши в Руйену, потому что я не могу этого сделать, что я благодарю всех за посылки. И дяде Круминю.

10. II. 43.

Если можешь, пришли листов десять бумаги – писчей.

Сегодня, 12. II, получил от сестры посылку. Еще не открыл, открою вечером, до чего же это приятно что-то получить, хотя еды мне

31. Возможно, шелк в переплетной мастерской Саласпилса – утилизированные платья заключенных лагеря или гетто.

хватает. Значит, ты так скоро не посылай. Рижский дядя мог бы тебе что-нибудь иногда и подарить, но он, верно, скупой.

Всё хорошо. Я здоров.

Целую. Папа

2

22. II. 44.

Здравствуйте, дорогие! Теперь пишу только через 2 месяца, это потому что у нас был карантин из-за тифа. Никого не впускали и не выпускали, письма тоже писать не могли. Я, правда, тифом не заболел, но простудился и болел гриппом, и уши болели, но тут пригодились присланные вами лекарства. Теперь я здоров и другие тоже. От тебя получил из Руйены 2 письма и посылку, Валдис тоже написал, что хлопчет по моим делам. Поблагодари его. Последняя посылка была помята и недоставало 3 кг. Было: 1 кусок мяса, 1 буханка черного хлеба, 2 белого, горох, пирожки, сухари, 2 пачки порошков от головы и, может быть, еще что, уже забыл [да], табак. Было для меня большой неожиданностью, что вы уже уехали, хотя раньше писали, что только весной поедете. Мне нравится, что так поступили, только ничего не пишете, как в Майзоне всё устроилось, как стало? У васхватило духу всё это сделать и преодолеть трудности переезда. Так как вы у Лиене жили, то съезди ко всем моим, то есть, нашим родственникам, поблагодарить за посылки, которые они мне посылали, а Лиене особенно. Ты пишешь, что все сердиты на Лиене, постарайся помирить, тебе это (нрзб.) и им будет хорошо, что уж враждовать в такое время. Думаю, это удастся. Хотя день рождения Андукса вроде бы вы чудесно справили, у меня как будто перед глазами, как всё это было. А подаренная курица уже несётся? Ты писала про какого-то дядю Августа, но я забыл, который это? Что он обо мне тебе писал и ты ему. Напиши подробно обо всех родных, как они живут, и обо всем. В январе получил от яниенца посылку. Был счастливый случай. Пусть впредь по этому делу связывается с тобой. Что слышно о маленьком Янисе. Не придется ли идти на войну и Робису, и Айрису? Моя жизнь очень однообразная, на работу не ходим, только в помещении, читать почти нечего, только немецко-латышский словарь. Обо мне затребовали отзыв – для некоторых это было хорошим знаком, посмотрим, как будет со мной. Думаю, отзыв был хороший, для другого нет причины. Самочувствие неважное, надоели это безделье и томление, еды вполне хватает и вы

еще так много присылаете, – нет аппетита. Большое спасибо новому родственнику за табак. Напиши также, что делаешь, будешь ли работать у Валдиса. Из газет знаю, что отец у него умер. Не горюйте и не плачьте обо мне и Лиенином Янисе. Привет новому родственнику г-ну Микельсону и другим. Тебя, Андука и Лиене целую, остальным добрые пожелания. Чай. Лук. Морковь. Капуста.

Папа.

3

11. IV. 44.

В самом деле, не знаю, что с вами случилось, что больше мне не пишете. До сих пор думал, что письмо может быть пропало, но разве за три месяца написали только одно? Да и то пропало. Не знаю, почему так поступаете, но мне это трудно понять и перенести. Теперь живу опять по-старому, тиф кончился, карантин отменен. Могу себя назвать счастливым, потому что по обоим сторонам моей лежанки были больные, а меня миновало. Но теперь опять повторяется старая болезнь, от которой меня лечил Др. Кейкамс; все те же признаки. Приезжал врач из Риги⁽³²⁾ и тщательно меня осмотрел; он, правда, не считал эту болезнь такой тяжелой как К. и сказал, что он надеется, что эта хворь не такая злая, что Др. К. меня пугал – расспросил подробно, какие лекарства я принимал и какую диету мне назначили – когда я всё рассказал, тогда он сказал, что это не так, он уверен, что я буду опять здоров. Врач был очень любезен и сказал, что он бы приехал раньше, но из-за карантина не мог. Я рад и выполняю все его указания, хотя в нашей лаборатории прописанных им лекарств нет, но я от одной надежды поправляюсь. Только бы и вы мне помогли поддерживать настроение.

Пасху праздновали только один день, но главное, что погода стала весенней и дух тоже. Хотя у нас зимы совсем не было, всё же чувствуется, что снова весна. 25 марта получил посылку, порадовался, что адрес написан твоей рукой, потому что думал, что тебя уже нет в Руйене. Сердечное спасибо. Хлеба могло быть больше – но ничего. Хорошо, что прислала лук. Спички не присылайте, потому что у нас хватает огнеметателей, чтобы прикурить⁽³³⁾.

32. В Саласпилсе была своя больница, при необходимости в лагерь вызывали врачей «со стороны».

33. Намек на бомбежки советской авиации?

Литература:

1. В Саласпилском лагере смерти. Рига. Латгосиздат. 1964.
2. Обвинительное заключение по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. Рига. Книгоиздательство VAPP. 1945.
3. Сообщение Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о преступлениях немецких захватчиков на территории Латвийской Советской Социалистической республики. Рига. Книгоиздательство VAPP. 1945.
4. Divu diktatūru terora upuri Baltijas valstīs = Terroropfer unter zwei Diktaturen in den baltischen Ländern. Rīga. Tapals. 2005.
5. Kangeris Kārlis. “Mums jāatklāj arī nepatikama patiesība” // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. 2012. Nr. 54. 15. Marts. 2.-3. lpp
6. Kangeris K., Neiburgs U., Viksne R. Salaspils noņemtie nacionālsociālistiskās Vācijas administrācijas plānos un soda noņemtu tipoloģijā (1941-1942) // Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 21. sēj. Rīga 2007. 216. lpp.
7. Kangeris K., Neiburgs U., Viksne R. Salaspils noņemtie: vēstures avoti un historiogrāfiskais materiāls. // Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 25. sējums. Rīga. Latvijas vēstures institūta apgāds. 2009.g. 200.-234. lpp.
8. Strods H. Salaspils koncentrācijas noņemtie (1941. gada oktobris – 1944. gada septembris) // Latvijas Okupācijas muzeja Gadagrāmata 2000: Komunistu un nacistu jūgā. Rīga. 2001. 87.-156. lpp.
9. Vestermanis M. Die nationalsozialistischen Haftstätten und Todeslager im okkupierten Lettland 1941-1945 // Die nationalsozialistischen Konzentrationslager – Entwicklung und Struktur / Hrsg. von U. Herbert, K. Orth, Ch. Dieckmann. [S.n.]. 1997. S. 472-492.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Slaistus mācīs kārtīgi strādāt // Tēvija. 1942. 11.11. 3.lp.
 Sodi par izvairīšanos no darba // Там же. 1943. 24.07. 3.lp.
 Там же. 1943. 24.08. 3.lp.
 Cp.: Strods H. Salaspils koncentrācijas noņemtie (1941. gada oktobris – 1944. gada septembris) // Latvijas Okupācijas muzeja Gadagrāmata 2000. Rīga. 2001. 127. lpp.

Lielāku vērību satiksmes līdzekļu uzraudzībai // Tēvija. 1944. № 160. 11.07. 7. lр.
Nesaudzīgu cīņu negodīgumam» // Там же. 1944. 11.07. 4. lр.

По проблеме принудительного детского донорства см.: Frank Vincent C. Basle/Switzerland. Vampire Camps of the Wehrmacht. Slavic Children Forced to Donate their Blood for Wounded Enemy Soldiers (<http://www.exilpen.net/neuigkeiten/texte/vampire.html>).

Об издании см.: Latviešu periodika. Bibliogrāfisks rādītājs. 4. 1940-1945. № 74.

Подглавка «Vāciesi – jaunatnes bendes» в статье «Komjaunatne Latvijā un Padomju Savienībā. Latvijas jaunatne cīnās pret vāciešiem» // Cīņa. 1943. 4.12. 4. lр.

Рига. 1946. С.13, 18. По данным этого расследования, «операции насильственного выкачивания крови в Саласпилсе было подвергнуто до 12 000 детей <...>».

Эпизод: 1ч. 14 мин. 40 сек. – 1 час. 19. мин. 20 сек. См.: (www.imdb.com/title/tt0036217/).

См.: Сегодня. 2004. № 175. 06.08. (<http://www.segodnya.ua/oldarchive/c2256713004f33f5c2256ee7005a5766.html>). На наш запрос 2013 г. в украинский фонд «Взаимопонимание и толерантность» мы получили следующий ответ от 20.12.2013:

«По Вашему запросу отвечаем: Выплаченных по категории “дети-доноры” было 38 человек. <...> Места пребывания: Сокольники (большинство), Великая Лепетиха (Херсонская обл.), Беларусь (Скобровка), двое – Любек, детский лагерь.

Подтверждающие документы: справка нашего архива или протокол опроса свидетелей, бывает справка сельсовета.

Сумма выплаты по категории “дети-доноры” 1533 евро <...>».

На наш взгляд, приведенный выше ответ свидетельствует о том, что германская сторона не настаивала на документальных данных, преимущественно была удовлетворена свидетельствами на основе устных показаний.

См. ниже письмо из Саласпилса А.Страутманиса от 17 янв. 1943 г.

См. соответственно: LKM. Ед.хр.12959/VII (М.Каunis), без шифра; Ед.хр. 11734/13633-VII (Vjaters Ludija).

Нинель Крамер

ВОЙНА И ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Мы жили в Ленинграде. Мой отец Стегалкин Дмитрий Григорьевич работал в Ленинградском Авиационном военно-техническом училище, которое готовило техников по обслуживанию военной авиации. Когда началась война, это училище эвакуировали на Урал, в поселок Вторая плотина под Магнитогорском. Переехали туда и служащие со своими семьями.

Эвакуация, очевидно, была основательной и неспешной: наша семья смогла взять с собой необходимые пожитки, даже кое что из мебели, швейную машинку «Зингер». Семьи служащих стали жить в двухэтажных длинных бараках. Наша комната – на втором этаже. Моя мама Мария Петровна была человеком хрупкого сложения, горожанка с молодых ногтей, а тут обрушилась на нее тяжелая физическая работа – пилить и колоть дрова, носить воду на второй этаж...

Все жены служащих стали работать в училище, маме досталась работа на кухне. Женщины сами поднимали и носили огромные котлы. Работа была круглосуточной, так как персонала и курсантов было много. К концу войны мама весила 42 килограмма.

Отца забрали на фронт, а вскоре, в 1942 году, родилась моя сестричка Ирина. Мама одна управлялась с двумя маленькими детьми. Когда Ирочке было чуть больше годика, она заболела крупозным воспалением легких. Ее положили в магнитогорскую больницу, она была при смерти. Врачи смогли раздобыть необходимый красный стрептоцид и спасли ей жизнь.

До войны мама потеряла шестилетнюю дочь Тамару, умершую от менингита, а затем погиб при пожаре на корабле мамин первый муж Владимир Горбунов, поэтому болезнь Ирины она переживала особенно сильно.

Я мало что помню из событий военных лет, поскольку была маленькой, и воскрешаю прошлое, связывая рассказы старших со своими отрывочными воспоминаниями.

Ранней весной 1945 года дан приказ о возвращении училища в Ленинград. Едем в товарных вагонах, поезд часто останавливается, и не только на станциях, но и в безлюдных и лесных местах. Все спешат со своими керосинками готовить еду и располагаются тут же, почти

на шпалах. Во-первых, опасаются лесного зверья, а во-вторых боятся отстать от поезда. И такие случаи я помню: котелки на керосинках кипят, состав вдруг трогается, – люди в панике, но поезд, к счастью, опять останавливается. И еще помню, как однажды кто-то стал кричать: «Медведи! Медведи!». Все бросились прятаться в вагоны. Из-за деревьев вышли медведи, большие, бурые... Медведей разогнали выстрелами, никто не пострадал.

Ехали очень долго. Оказались почему-то не в Ленинграде, а в Риге. Нам было сказано, что это временно, и мы двое суток просидели на чемоданах, ожидая решения начальства. Вначале говорили о ремонте путей, но потом объявили, что училище останется в Риге.

Мама делала попытки вернуться в родной город, но наша комната там на улице Декабристов, где мы жили до войны, оказалась занятой. Хлопотала за нас и ее младшая сестра Ирина Петровна Мавро-Кефало, пережившая ленинградскую блокаду. Но ответ был один: ваше училище теперь в Риге, и жить вы будете – там же.

Весной 1946 года для сотрудников училища был выделен пятиэтажный дом на улице Гоголя 4/6, с печным отоплением. Нам достались две комнаты в коммунальной квартире на четвертом этаже. В трех соседних поселилась наша знакомая по эвакуации Антонина Андреевна Левина, со своей старенькой мамой и двумя мальчиками примерно такого же возраста, как мы с сестрой Ирой. Женщины своими силами приводили большую квартиру в порядок, – она находилась в жутком состоянии: в окнах сломаны переплеты, вместо стекол – фанера, в туалете и даже ванной комнате – горы нечистот, которые пришлось долбить ломами. Очень медленно наше пристанище приобретало жилой вид.

Еще две большие комнаты оставались нежилыми. В Риге в то время было беспокойно, на улицах стреляли, совершались грабежи. Наши мамы просили руководство училища подселить к нам семью с мужчиной...

Так мы окончательно обосновались в Риге. На зимние месяцы мы с мамой перебирались в одну комнату, поменьше, чтобы экономить дрова и силы...

Отец в качестве военного фотокорреспондента прошел всю войну. Был дважды ранен и получил серьезную контузию. Он принимал участие в освобождении Болгарии, Румынии, Венгрии и Чехословакии.

У меня до сих пор хранятся его открыточки, посланные из тех мест, на каждой изображен какой-нибудь военный плакатик, обязательное «Смерть немецким оккупантам!» и несколько папиных фраз, адресованных мне или нам с сестрой вместе. Служил за границей до 1948 года, потом окончательно перевелся в Ригу, к своей семье.

Забегая вперед, скажу, что наше военно-техническое училище было одним из двух, на базе которых в 1947 году было создано Рижское Высшее инженерно-авиационное военное училище им. Кл. Ворошилова, ставшее в 1960 году Рижским Институтом инженеров гражданского воздушного флота. После демобилизации в 1954 году отец работал там до выхода на пенсию.

В 1946 году я пошла в первый класс, в 21-ю среднюю школу. Учиться было трудно: мало тетрадей, бумаги, учебников и пособий. В классах холодно – сидели в пальто и шубах. Сказывалось и постоянное недоедание. Помню хлебные карточки и длиннющие очереди за крупой, мукой и сахаром, которые зимой и летом, с раннего утра, не иссякали на пустыре, слева от Центрального универмага, где сейчас построена красивая галерея Центр.

Но жизнь постепенно налаживалась. В нашем доме, в соседнем подъезде, каким-то чудом на первом этаже сохранилась библиотека, где было немного детских книг. Сначала с мамой, потом уже сама, я ходила туда за книгами. В шесть лет я уже читала. Позднее мама раздобыла где-то рояль. Она очень хотела, чтобы я стала балериной. Мама происходила из большой греческой семьи Мавро-Кефало (в переводе: черная голова), жившей до революции в Одессе. Рано осиротев и потеряв двух старших сестер, она и ее младшая сестра Ирина Петровна остались на попечении старшего брата Виктора Петровича. Он был артистом балета (сценический псевдоним В.П.Славич) и разъезжал в составе труппы по всей стране. Своих младших сестренок возил с собой, так как их негде и не с кем было оставить. Так мама приобщалась к искусству, но систематического образования не получила. Поэтому она всеми силами старалась дать его нам.

Узнав, что в Доме офицеров (до войны и сейчас – Дом Латышского Общества) начал работать детский балетный кружок, мама привела меня туда. Это был 1946 год, мне семь лет. Руководила кружком Нина Константиновна Кестнер, бывшая балерина Кировского (Мари-

инского) театра оперы и балета, которая знала и моего дядю. Нина Костантиновна старалась привить своим ученицам вкус к музыке и танцу. Кроме классических балетных постановок мы танцевали латышские, украинские, кавказские и другие народные танцы. Концерты ставились в Большом и Белом залах Дома офицеров, но часто самодеятельные артисты ездили выступать и в воинские части.

Однажды нам объявили, что мы поедем с концертом в лагерь военнопленных, в Огре. Помню мамины слезы. Она никак не могла понять, как это нас повезут к немцам, врагам, чтобы мы, дети, перед ними танцевали. Родителей успокоили, что поедет весь коллектив, и что там будет охрана.

Зима была холодная и снежная. Мы отправились рано утром. Приехав, увидели несколько длинных бараков, кругом – охрана. Концерт вспоминается смутно, зато ясно сохранилось в памяти, что принимали нас очень тепло. Выступали и сами немцы: пели под губную гармошку, и нам это казалось странным.

После концерта нам предложили выйти к немцам. Они стали подхватывать нас, детей, на руки, прижимать к себе. Казалось, что нам радуются. У многих в глазах стояли слезы. Мы были смущены, удивлены. Военнопленные немного говорили по-русски. Потом взрослые объяснили, что эти люди давно живут без семей и, очевидно, наскучались по своим детям...

После этого нас всех привели в другой барак, где были накрыты столы. Мы, хронически недоедавшие дети, при виде длинного, почти во весь барак, стола, покрытого белой скатертью, пришли в восторг. По углам стояли зеленые елочки. Конечно, сейчас не помню, что было на столах, помнится лишь, что обед был очень вкусным, особенно чудесные пироги...

Нам, детям, немцы подарили на память книги. Так у меня оказалась книга Андрея Упита “Пареньки поселка Моховое”. В книге две надписи. Одна официальная, на русском языке: «Нашим молодым друзьям на память о встрече, посвященной германо-советской дружбе. Дружеская связь с вами и проблемы, стоящие перед нашим народом, обязывают нас бороться на родине за дело мира и за укрепление дружбы германского народа с Советским Союзом. Во имя нашей дружбы, немецкие антифашисты, г. Огре. 27.11.1949 г.». Другая надпись, личная, на немецком: „Dir, liebe kleine Freundin, meinen herzlichsten Dank für

diesen Abend. Ralf... (фамилия не разборчива), что означает: тебе, милая маленькая подруга, моя сердечнейшая благодарность за этот вечер. Ральф...

Потом продолжалось неформальное общение. Мама рассказывала, что немцы вспоминали о своих семьях, родных, плакали, клялись, что больше никогда не будут воевать, и надеялись на возвращение домой...

С концертом в лагерь военнопленных мы ездили в 1949 году, но вовсе не в канун Нового года, как у меня отложилось в памяти из-за елочек в бараке, а 27 ноября. И учитывая, что 7 октября 1949 года образовалась Германская Демократическая Республика, наш концерт, очевидно, состоялся в связи с этим событием.

Когда я вспоминаю печальные лица взрослых, с обеих сторон, слезы в их глазах, улыбки и нежность к детям, меня охватывает чувство жалости и сочувствия к взрослым того времени, на чью долю выпали страшные военные годы. Маме тогда нелегко дался переход от чувства вражды к чувству участия и доброты – много слез было пролито ею в те дни... К тому же о пережитом за годы войны напоминало ей постоянное нездоровье. Всё умея и всё делая сама, мама теперь неохотно бралась за приготовление еды: так устала от кухонных котлов в училище, можно сказать, устала на всю жизнь.

Теперь я – пенсионерка. Сыновья - Максим 42-х лет и Виктор 38-ми лет – предприниматели. Двое внуков. Я люблю Ригу и Латвию, где прожила всю свою сознательную жизнь.

Помню, в первые послевоенные годы мы два лета жили в Берги, недалеко от этнографического музея, в имении латышской семьи, которая своим силами обихаживала большое хозяйство: 12 коров, две лошади, не считая мелкой живности. Хозяйева все работы делали сами и только на уборку урожая приглашали работников. Мы, конечно, тоже участвовали во всем, и всё нам казалось интересным. И когда в 1949 эту латышскую семью (к сожалению, не помню фамилии) «раскулачили» и сослали в Сибирь, мы были потрясены, мама горько плакала...

Константин Орлов

КАК Я ИСКАЛ ТОЛСТОГО

(Из записок репортера)

В ночь с 27 на 28 октября 1910 г. 82-летний Толстой, в сопровождении врача, в армяке и вязаной шапочке, с электрическим фонариком в руке, бежал из дома, из Ясной Поляны. «Давно, усталый раб, замыслил я побег...». Куда бежал, зачем бежал, от кого и от чего бежал – на эти вопросы, разбирай их хоть по отдельности, хоть в связке, в клубке – россыпь ответов. Но в те последние дни октября-первые дни ноября 1910 г. главное – где беглец, что с ним? Первым на эти вопросы сумел ответить Константин Владимирович Орлов (1875-1921, Рига), журналист известнейшей московской газеты «Русское слово», сын одного из последователей Л.Толстого. Пустившись на поиски Л.Толстого, он через несколько дней нашел его, известил об этом свою газету и тем самым – весь мир. И Толстой, бежавший из Ясной Поляны в том числе и из желания не быть притчей на устах, мгновенно стал удешаженной притчей...

После Октябрьской революции К.В.Орлов оказался на Юге России, где продолжал свои письменные занятия, затем остановился в Латвии, стал сотрудником рижской газеты «Сегодня», где к 10-летию со дня смерти Толстого опубликовал своих воспоминания о том, как он искал Толстого. Спустя десять лет после толстовского побега все было еще живо. Как живо и сегодня, спустя сто с лишним лет, – поскольку и сегодня для многих и немногих Лев Толстой, в особенности, последних лет его жизни и творчества – граница, за которую не перейти...

Б.Р.

О приближающейся 10-летней годовщине толстовской драмы напомнили газеты... В суতোлке эмигрантского скитанья самому бы ни за что не вспомнить.

Газеты напомнили, и на это сознание откликнулось странной двойственностью впечатлений.

Сразу хотелось воскликнуть: Ужели еще только десять лет!

И тут же подумалось: А разве уже десять лет!

С одной стороны между тогда и теперь легло столько пережитого, легла пропасть, разделяющая два ни с чем несхожих мироощущения, с другой стороны – так живы еще в памяти все подробности... Словно вчера все это случилось.

Была пятница 30-го октября и у Корша была премьера. Незабвенные для москвича коршевские «пятницы», где публику, являвшую собой своеобразную смесь мещанской семейственности с профессиональным полусветом, «папаша» Корш еженедельно угощал то скучным, не «вполне приличным» переводным фарсом, то переводной же слезливой мелодрамой. Теперь даже об этих «пятницах» вспоминаешь с чувством, похожим на умиление.

К месту в партере, где я отчаянно зевал, отбывая рецензентское дежурство, в последнем антракте протискался наш заведующий провинциальным отделом, бесцеремонно расталкивая чинно тянувшихся к буфету коршевских аборигенов.

Нагнувшись над моим креслом и по обычной своей милой привычке аффектируя конспиративность, он возбужденно зашептал: Сегодня же ты едешь... Толстой бежал!

Я широко раскрыл глаза.

– Откуда бежал? Куда я еду?

– Идем, идем скорее! Нельзя терять времени.

Мы вышли вместе, и дорогой он сообщил мне то, чем на другой день газеты поразили всю читающую Россию.

82-летний старец, ранним утром, когда все домашние еще спали, оставил свой Яснополянский дом и ушел... Или «бежал», как сразу стали все говорить.

Куда? Этого никто не знает...

– Заезжай, если нужно, в Ясную Поляну. Расспроси всех, поезжай вслед – Толстого надо найти...

– Откуда известие?

– Вот, читай, – и он сунул мне в руку скомканный телеграфный бланк, на котором я при свете уличного фонаря прочел:

– Сегодня утром Толстой скрылся в неизвестном направлении.

Телеграфировал нам корреспондент от Козловой Засеки, ближайшего к Ясной Поляне полустанка, железнодорожный телеграфист, которому еще со времени последней серьезной болезни Толстого было поручено давать регулярные бюллетени.

Я припомнил старика-телеграфиста с его всегдашней умиленностью, почти благоговейным преклонением перед именем «великого писателя земли русской» и невольно подумал о том, какое смятение смиренной души, какую мучительную тревогу призваны отражать эти неуклюжие деревянные строки.

На башне Страстного монастыря пробило двенадцать. До последнего поезда на Тулу оставалось менее часа, и терять времени, действительно, было нельзя.

Забежать домой, переодеться, захватить дорожную сумку, было делом двадцати минут, а еще через полчаса я уже трясся в душном и скупо освещенном вагоне ночного поезда Московско-Курской дороги.

Удобный и для туляков, приезжавших «по делам» в Москву, и для москвичей, имевших дела в Туле, этот поезд всегда бывал переполнен и деловито сонлив. Обычных дорожных «посиделок» с разговорами о бессоннице, железнодорожных «порядках» в этом поезде никогда не водилось.

Совершив маленькую рекогносцировку по вагонам и убедившись, что из «яснополянских» никого нет, я тоже улегся подремать, но сон бежал от глаз, и мысли настойчиво вертелись около нежданно раскрывшейся личной драмы Толстого.

Тяжкий разлад в семье Толстых не был секретом для Москвы. Знали также, что этот разлад обострился с того времени, как вернувшийся из-за границы друг Толстого, В. Г. Чертков, поселился в своих Телятниках по соседству с Ясной Поляной.

Строго говоря, то, что случилось, не могло считаться вполне неожиданным. О том, что в Ясной Поляне неладно живется, знали многие. Знали о глухой борьбе, которая велась вокруг Толстого, или вернее, даже из-за Толстого, между графиней Софьей Андреевной и В. Г. Чертковым. Знали также о страданиях, какие переживал в связи с этим сам Толстой.

Последние годы жизни Льва Николаевича еще ждут своего биографа-психолога. Ждут и не скоро дождутся, потому что среди людей, близко стоявших к великому старцу в эти дни, вряд ли кто дорос до выполнения такой задачи.

В современных Московских кружках, так или иначе соприкасающихся с жизнью Ясной Поляны, разыгрывавшуюся там драму схематически представляли себе, как «спор о душе» Толстого между

графиней Софьей Андреевной и В. Г. Чертковым.

Со всюю страстностью, со всей энергией своего недюжинного властного характера Софья Андреевна стремилась вернуть Толстого «в собственность» семье, и не только семье, но вернуть его тому укладу жизни, тому кругу отношений, который казался единственно приемлемым для ее дворянско-буржуазного, как теперь сказали бы, мирозерцания, ни в чем не поколебленного годами жизни под одним кровом с «великим во Христе анархистом», как кто-то сказал о Толстом.

Софья Андреевна шла к своей цели настойчиво, шаг за шагом отвоевывая своего «Левушку» у ненавистной для нее «публичности».

Обстоятельства, казалось, благоприятствовали графине. Уже владевшее в те поры у меня марксистское поветрие отодвинуло Толстого в сторону. С «экономическим» материализмом и иными входившими в моду течениями мысли Толстой, разумеется, мало имел общего. Для интеллигенции, в особенности для молодежи, Толстой все больше становился иконой, которую ставят в почетный угол, но на которую редко взглядывают.

Сам Толстой уже пережил пору наиболее резкого бунтарства против внешних форм «господской» жизни.

Давно ушли в прошлое дни, когда кабинет Льва Николаевича в его доме, в Хамовниках, был открыт «без доклада» для «всякого», хотя бы этот всякий был босяком с Хитровки.

Минуло время, когда дом Толстых жил двумя резко обособленными половинами, когда гости, проходившие на «половину графини», при встрече с «гостями графа» брезгливо сторонились.

Им не «отказывали» и теперь, этим прежним «гостям графа», но большинство из них сами почувствовали, что стали «не ко двору».

Толстой упрямо держался еще некоторых прежних знаков, некоторых привычек «опрощения», но здесь Софья Андреевна сумела пойти на уступки. Лишь бы это не выходило из рамок «милой оригинальности», вполне позволительной для «знаменитости». Тем более, что «демократизм» в то время как раз был выгоднее.

Но вот появился Чертков. После возвращения из долголетнего изгнания, поселившись в своих Телятниках, рядом с Ясной Поляной, возобновив тесное общение со старым другом, этот человек, властный, упрямый и настойчивый не менее графини, не скрывал

владевшей им *idée fixe* поставить Толстого и сесть рядом с ним в центре и во главе большого религиозно-социального движения.

Передавали любимую цитату Черткова: Никто не ставит светильника под спудом, но на горе – да светит всем...

Влияние Черткова возрастало... Сила его коренилась, по-видимому, в том, что он умело раздувал те самоупреки в квиетизме, которые Толстой переживал в своей собственной совести.

Софья Андреевна поняла, что вся ее многолетняя работа может быть сметена в одночасье, как паутина.

Не в ее характере было сдаться без борьбы, и борьба завязалась отчаянная, причем шансы Черткова увеличились тем, что на его сторону стала младшая дочь Льва Николаевича, Александра Львовна, в отсутствие других особенно приблизившаяся к отцу.

Глухое течение этой борьбы не раз прорывалось бурными вспышками темперамента Софьи Андреевны.

Недели за три до «бегства Толстого» в Москве рассказывали о бурном объяснении в Ясной Поляне, когда графиня стреляла в портрет ненавистного ей «разлучника».

Припоминая все, что я знал об этом, под мерный стук колес приближавшего меня к Ясной Поляне поезда, я проникался уверенностью, что в исчезновении Толстого надо «искать руку Черткова».

Эту уверенность вполне разделил со мной один из друзей семьи Толстого, встреченный мною на Тульском вокзале.

О бегстве Толстого здесь уже знали в подробностях. Лев Николаевич поднялся в 4 ч. утра, велел заложить тарантас и везти себя к раннему поезду на Орел. Ехали не на полустанок Козлову Засеку, а на станцию Щекино. Было ненастно, холодно и темно, хоть глаз коли. Ехали на станцию с фонарями.

Толстого сопровождал и вместе с ним уехал Душан Маковецкий, считавшийся у Толстых домашним врачом. Преданный «учителю» благоговейно и без рассуждения, как в Европе умеют быть преданными только балканские славяне, не то ученик и друг, не то фактотум, Душан делил с младшей дочерью Толстого, Александрой Львовной, обязанности секретаря, а в проходившей вокруг Толстого борьбе каким-то чудом умел сохранять нейтралитет и доверие с обеих сторон.

На станции Щекино Лев Николаевич со спутником взяли билеты 3-го класса до станции Горбачево, узловой станции, где Московско-

Курскую дорогу пересекает линия Рязанско-Уральской компании Богоявленск-Вязьма.

Сообразив все услышанное, я решил в Ясную Поляну не заезжать, а попытаться просто «догнать» Толстого. Меня отделяли от него сутки.

В Горбачев поезд пришел около восьми ч. утра. Расспросить первого попавшегося из станционных служащих было достаточно, чтобы узнать, что Толстой со спутником, действительно, вчера утром сошли на этой станции. Я поспешил к ямщикам, дежурящим возле станции, но здесь узнал новость, несколько меня озадачившую: прибывшие лошадой никуда не нанимали, но со своими котомками за спиной ушли пешком опять-таки «в неизвестном направлении».

Первым пришло в голову предположение, что поблизости Горбачева могло оказаться имение у кого-либо из особых почитателей Яснополянского старца, из московских «толстовцев», среди которых были люди весьма состоятельные.

Начал расспрашивать об окрестных имениях. Остановила внимание только фамилия Абрикосова. Один из Абрикосовых был известен в Москве как толстовец. Он ли был владельцем имения, узнать не удалось, но надо было попытаться счастья, и я нанял туда лошадей.

По размокшему чернозему пара «обывательских» потащила меня довольно уныло, когда, не отъехав от станции и полверсты, я заметил в стороне от открытой степи большое кирпичное здание.

Без всякой определенной цели, по машинальной репортерской любознательности я осведомился у ямщика, что это?

- Станция Уральской дороги.
- Пассажиры поезда там останавливаются?
- Только один поезд – товарный с прицепным вагоном третьего класса, «скотский» прозывается.
- Вези меня туда.

На безлюдной товарной платформе нелегко было разыскать даже и кассира.

Однако, когда я его нашел, то догадка сразу подтвердилась. Да, действительно, вчера среди бравших билеты на «скотский» поезд двое обратили на себя внимание. Толстого кассир раньше никогда не видал, но «старший» по портретам был очень похож на Толстого. Билеты взяли до Козельска, ближайшей станции к знаменитой Оптиной пустыни, а оттуда в 12 верстах основанная старцем Амвросием жен-

ская Шамординская обитель, где несла иноческое послушание любимая сестра Льва Николаевича, графиня Марья Николаевна Толстая.

Первый, по крайней мере, этап Толстовского бегства определился, и через час я ехал к Козельску в том же «скотском поезде» с полной уверенностью, что задача уже выполнена. Оставалось лишь удостоверить.

«Классный» вагон «скотского» поезда, как выяснилось, неизменно с ним обращающийся, оказался старым хламом, какой можно было встретить только на железнодорожных «проселках» прежней Руси. Неудобный, грязный, как решето сквозящий, он был до такой степени переполнен, что почти все пять часов пути до Козельска я простоял на площадке под бешеными порывами пронзительного ноябрьского ветра.

Я с ужасом думал, как могла подобная поездка отразиться на хлипком в ту пору здоровье 80-тилетнего старца.

Среди прасолов и просто местных мужиков моим соседом на площадке оказался неожиданно еще не старый монах в хорошей шелковой рясе над теплым армяком.

Когда разговорились, выяснилось, что передо мною архимандрит Петр, настоятель Белевского мужского монастыря, возвращающийся к себе в монастырь из Тулы.

Сообщение о событии, вызвавшем мою поездку, сильно взволновало о. архимандрита, и из беседы с ним я впервые ярко уразумел, с какой напряженностью внимания Толстым же разбуженная церковь «сторожила» «еретика», страстно желая и упрямо не теряя надежды на его обращение к вящему торжеству официального православия.

Я узнал о подробных инструкциях, преподанных всему окрестному духовенству, на случай, если бы «болящий» Толстой вдруг пожелал исповедаться, узнал о подспудно предпринимавшихся попытках устного и письменного совопросничества в надежде, если не смирит, то хотя бы расшатать «гордыню ослепленного ума».

И я почувствовал руку графини Софьи Андреевны, тайно покровительствовавшую этим попыткам.

В том, что Толстой, покинув свой дом, направился в Оптиную пустынь, о. архимандрит усматривал уже «прямое указание», что час обращения приспел.

– Вы увидите, – повторял он с горящими глазами. – Оптинские

старцы – великие ловцы человеков.

Часа через четыре прибыли в Козельск, убогий и нахмуренный среди обступивших его остатков «брынских лесов».

Добравшись до Оптиной пустыни, я сейчас же узнал, что Толстой провел всего несколько часов в монастырской гостинице.

Пили чай с Душаном у себя в номере, зачем-то спрашивали почтовой бумаги, хотя писем не отправляли.

Толстой один уходил куда-то из гостиницы часа на два. Когда вернулся, заказали лошадей в Шамардино и уехали.

Кстати сказать, по поводу этого посещения Толстым Оптиной, в печати неоднократно утверждалось, что Толстой, все-таки, был в этот раз у одного из оптинских «старцев», именно, у Иосифа и более часа провел в интимной беседе с ним.

С положительностью могу утверждать, что слух, в данном случае, рожден желанием некоторых кругов, «чтобы так было».

Старец Иосиф в личной беседе с автором этих строк, заявил, что Толстой у него не был, хотя узнавши о прибытии Льва Николаевича в обитель, старец его поджидал.

Толстой уходил из гостиницы просто для своей слишком привычной пешей прогулки. Мне удалось расспросами проследить маршрут этой прогулки: по дороге за околицу обители и оттуда тропинкой в рощу вдоль реки Жиздры.

Здесь, среди обезлиствевших осин и берез, над остеклевшей мутной гладью словно уснувшей реки, старец, навсегда оставивший свой дом и своих близких, просидел более часа и если беседовал, то только с Богом и своей совестью.

Более не могло быть сомнений, что Толстой у сестры.

Тотчас протелеграфировав об этом в Москву, я стал соображать, что же делать дальше.

Мысль о том, чтобы лезть на глаза Толстому или даже получить от него интервью в такой час его жизни, невыносимо претила даже репортерской совести. Я предпочитал следить за ним издали, хотя бы из той же Оптиной.

Однако, намерения редакции мне не были известны. Она могла найти мою совесть слишком щепетильной и заменить кем-нибудь более покладистым.

Для разъяснения своих недоумений я решил смахать в Москву,

куда через Сухиничи, по Брянской линии, одна ночь езды.

Надуманно – сделано. В воскресенье утром я был в Москве и, получив полное одобрение намеченной линии поведения, в понедельник утром уже опять высаживался в Козельске, чтобы на заранее заказанных лошадях скакать в Шамардино.

Знакомый ямщик встретил меня смущенным заявлением:

– А граф-то, ведь, уехадчи...

Я оторопел и не верил ушам. Это оказалось, однако, сущей правдой. В воскресенье в Шамардино приехала Александра Львовна Толстая и после долгой беседы с отцом с глазу на глаз, в ночь, холодную, снежную и бурную, увезла его на телеге в Козельск, а оттуда с поездом в пять утра – в сторону Горбачева.

Делать нечего. Надо было исправлять сделанный промах. Ближайший поезд отправлялся в десять, и давал мне возможность следовать за Толстым в четырех часах.

Спутниками Толстого билеты были взяты от Козельска только до Белева. Еще до отъезда из Козельска мне пришло в голову, что Белев мог быть припутан очевидно прятанной отца Александрой Львовной только для отвода глаз. В пути еще до Белева могли быть приобретены билеты дальше, и высадившись в Белеве, я безнадежно терял бы след.

Последовательные справки на каждой из станций скоро подтвердили справедливость догадки.

За две станции до Белева в кассе мне сказали, что с предыдущего поезда здесь были взяты билеты до Волова.

Эта новость меня снова озадачила, так как Волово лежало уже за Горбачевым, а мой поезд шел только до Горбачева, и чтобы продолжить путь на Волово, мне пришлось бы ждать в Горбачеве почти сутки.

По прибытии в Горбачево я кинулся на железнодорожный телеграф. Милые юные телеграфистки захолустных российских станций! Сколько услуг и с какой пламенной готовностью оказывали они заезжему корреспонденту!

– Нельзя ли справиться в Волове, не высаживался ли там Толстой!

Застучал телеграф, и ответ получился скоро, но неутешительный: Толстого в Волове не видали.

Оставалось еще проверить на ближе лежащих станциях, не было ли там взято с проезжавшего поезда билетов для дальнейшего следования. За эту работу телеграфисты взялись все с той же обязательностью,

хотя понадобилось немало времени.

Наконец, белокурый телеграфистик с нахмуренными от напряженного внимания бровями выбиравший из аппарата ленту, радостно воскликнул:

– Вот они!

Неизвестный мне доброжелатель сообщал:

– Толстой находится Астапове, квартире начальника станции.

Название маленькой захолустной станции, в нескольких верстах от уездного города Рязанской губ. Данкова ничего не говорило ни уму, ни сердцу.

Никаких объяснений или подробностей получить не удалось.

Итак я знал только, что Толстой находится от меня в каких-нибудь 80-ти верстах, но был бессилён приблизиться и узнать, почему им было выбрано такое странное убежище.

Протелеграфировав в Москву полученные сведения, я уже набирался терпения, чтобы ждать до утра, но, разглядывая расположение Астапова по железнодорожной карте и справившись с поездным графиком я вдруг обнаружил, что я могу еще этой же ночью очень сильно приблизиться к Астапову по одной из очень развитых в этой местности подъездных для зерна веток, а проехавши на лошадях 10 – 15 верст между конечными пунктами двух веток могу даже, при удаче, к утру уже попасть в Астапово.

Обнаружить такую возможность для репортера значило приступить к выполнению.

Удача пошла навстречу, и после ночи, проведенной в пересадках из товарного вагона в классный на другой ветке, и потом опять в товарный, промесив 12 верст невылазной черноземной грязи на лошадях, утром измученный, но счастливый я подъезжал к Астапову.

Последним этапом путешествия был классный и даже спальный вагон поезда, проходящего через Астапово из Москвы на Елец.

Проходя коридором вагона и машинально заглянув в одно из купе, я невольно отшатнулся: в полусвете вагонного ночника я увидел там массивную фигуру и склоненный над записной книжкой жесткий ястребиный профиль Черткова.

Ошибки не могло быть. Я увидел его в Астапове выходящим из поезда в сопровождении своего секретаря, молодого Сергеевко, сына известного литератора, немало время кормившегося Толстым.

В Астапове я неожиданно оказался под запрещением, напоминавшим древне-латинское *Interdictio aquae ignisque* [Ср.: *Aquae et ignis interdicio* – отлучение от воды и огня. – Ред.

Выполняя просьбу предусмотрительной Александры Львовны, начальник станции Озолин, на долю которого выпала честь оказать гостеприимство умирающему Толстому, с лояльностью истого латыша отдал всем служащим на станции строгий приказ, под угрозой немедленного увольнения, даже не разговаривать ни с кем, кто будет спрашивать о Толстом и, во всяком случае, не «оказывать никакого содействия».

Попытка моя получить аудиенцию у «самой» Александры Львовны была резко отклонена.

Раньше вечера, однако, нарушителей бойкота на станции и даже в самом домике Озолина оказалось достаточно, чтобы мне стали известны и я мог протелеграфировать в Москву все подробности прибытия сюда Толстого.

Для надломленного здоровья роковой оказалась, по-видимому, последняя поездка на лошадях ночью из Шамардина, откуда дочь вытащила старика, очевидно выполняя Чертковские инструкции.

На станции в Козельске его уже лихорадило. В вагоне к концу дня он совсем расхворался, и продолжать путь было явно нельзя, несмотря на нетерпение Александры Львовны, как говорят, намеревавшейся отвезти Толстого на Сев. Кавказ, к одному из проживавших там видных толстовцев.

Что спутники Толстого везли его все дальше до последней крайности, явствует из того, что остановку в конце концов уже не выбирали, но сошли и просили приют на первой попавшейся станции.

Слабость больного была уже так велика, что из вагона его почти вынесли и поместили в квартире начальника станции, в домике, стоящем у самого полотна дороги по другую сторону от станции.

Старец сильно страдал от жара, но был еще в полном сознании.

Вечером, исполнив все обязанности корреспондента, я проходил мимо, ставшего в тот день историческим, домика, в станционный поселок, где ждал меня ночлег в углу грязного трактира.

За занавеской в окне той комнаты, где, как я знал, лежит Толстой, желтела лампа.

Сеялась изморозь. Пронзительно взвизгивая и громыхая, на скре-

щениях рельс против самого домика маневрировал паровоз.

И вглядевшись в заветное окно, я думал о том, что сзади тусклого, но ровного пламени керосиновой лампы неровно вспыхивает теперь грозящее погаснуть пламя великой жизни.

Думал о том, с какой жестокой иронией для учителя жизни, положившего в основу своей проповеди отрицание внешней культуры, судьба приготовила ложе тяжкого недуга, быть может смерти, чуть не на самых рельсах «чугунки», в народном представлении символизирующей собою всю нашу цивилизацию, – цивилизацию железа, пара и электричества.

Сегодня. Рига. 1920 г. 20, 21, 23, 25 ноября.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Михаил Астановский (1960) закончил в Риге Политехнический институт (1984), инженер-механик. В 1999 году уехал в Израиль. В настоящее время – инженер-конструктор в Израильском объединении а Motorola в Тель-Авиве. Зарисовки, рассказы пишет с 1980 года, публикует в Интернете:

<http://connect.artmozaika.com>

Имант Аузинь (1937 – 2013) – поэт, переводчик, критик. Закончил отделение латышского языка и литературы историко-филологического ф-та ЛГУ (1961). Издано около сорока книг – сборники стихотворений, прозы, критических статей и размышлений. Переводил М. Лермонтова, Т. Шевченко, А. Блока, В. Незвала, а также современную украинскую, русскую, литовскую поэзию. Стихи И Аузиня переведены примерно на 15 языков.

Ингмара Балодэ (1981) – поэт, переводчик. Автор двух сборников стихотворений: „Ledenes, ar kurām var sagriezt mēli” («Леденцы, которыми можно порезать язык», 2007) и „alba” (2012). Редактор издательства „Mansards”. Переводит главным образом произведения польских авторов 20 – 21 века. Вышли из печати и были замечены несколько переведенных романов, книжки для детей, сборник стихотворений „Svešā skaistumā” классика современной польской поэзии Адама Загаевского. Переводит также с английского, русского языков. В настоящее время пишет докторскую диссертацию о традиции поэтического перевода в латышской литературе.

Яков Берг (1937) – поэт, прозаик. Закончил Латвийский университет по специальности журналистика (1971). Публиковался в журналах “Даугава” и «Дон», в Рижском альманахе и латвийской печати. Опубликовал роман “Теперь, когда вечность уже на пороге”, биографическую повесть “Пока бьётся сердце” и сборник стихов “Безвременье”.

Святослав Берг (1991) – студент третьего курса Высшей школы менеджмента и информационных систем. Первая публикация.

Белла Берзиня (1996) – лицеистка социально-экономического отделения Пушкинского лицея. Публиковалась в альманахе Пушкинского лицея ARS No 17.

Наталья Большакова родилась в Пятигорске, в 1982 году закончила Литературный институт им. М. Горького в Москве; автор нескольких десятков статей (в том числе, театроведческих, литературоведческих, богословских) и двух книг: «Христианство осуществимо на земле» – История создания и

жизнь монастыря Покрова Пресвятой Богородицы в Бюси-ан-От (Франция), 2006 г.; «Жизнь и служение епископа Кампанского Мефодия (Кульмана)», 2009 г.

Елена Васильева (1962) – поэт, переводчик. Закончила Латвийский университет по специальности русский язык и литература (1986), преподает в школе русский язык как родной и как иностранный. Публиковалась в журналах “Балтика”, “Даугава”, “Дон” и латвийской печати. Автор трёх поэтических сборников.

Наталья Воронцова (1950) закончила отделение германистики ф-та иностранных языков ЛГУ (1973), стипендиант Института Гете в Дрездене (1994 г.). Переводчик, переводчик-синхронист на международных конференциях.

Анна Григорьева (1965) закончила Рижское хореографическое училище и работала в театре и частных проектах как танцовщица и хореограф. Закончила ГИТИС по специальности “театровед”, публиковала в рижских газетах статьи на темы театра, балета, искусства. Стихи пишет с 18-ти лет. В настоящее время работает с детьми как педагог-хореограф.

Анна Груздева (1935) закончила Педагогический институт в Красноярске (1959). С 1960 г. живет в Риге, работала в разных рижских школах; последнее место работы – гимназия Золитуде. С 2010 года – пенсионерка.

Юрий Касянич (1955) – поэт, переводчик. Закончил Латвийский ун-т, по специальности – физик. Автор сборников стихов «Над ивами бессмертных рек» (1987) и «Пейзаж после исповеди» (2012); сборника переводов латышского поэта Эгилса Плаудиса «Яд сирени» (1987).

Марина Костенецкая (1945) – писатель, публицист. Училась в Рижском медицинском институте (1970 – 1973). Закончила Высшие литературные курсы в Москве (1977), работала зав. отделом прозы в журнале «Даугава» (1977 – 1982); с 1992 г. – радиожурналистской. Многие годы вела авторские передачи в программе Латвийского радио «Домская площадь». Автор нескольких сборников рассказов, публицистических статей, среди которых – «Дешево продается клоун» (2008) и «Письма из дома» (2010). В предисловии к последней автор пишет: «Перед вами, читатель, исторический документ – лагерная переписка моих родителей».

Нинель Крамер (1939) окончила физико-математический ф-т ЛУ (специальность – ядерная физика). С 1961 г. более 35 лет работала на атомном реакторе в Саласпилсе. В 1972 г. защитила кандидатскую диссертацию на физическом факультете Ленинградского университета. С 1989 г. член Латвийского общества русской культуры.

Анда Кубулия (1942) – литературный критик, доктор филологии. Работала в библиотеке Дома работников искусств (1982 – 1985), заведующей библиотекой Латвийской академии культуры и др., редактором отдела критики в газете «Kultūras Forums» (2005 – 2008). В 1994 – 95 гг. прочла в ЛАК курс лекций о литературной критике и ее жанрах. Автор нескольких книг теоретических статей, монографии «Визма Белшевица» (1997). Составитель, автор предисловия и комментариев Собрания сочинений Эдвартса Вирзы (5-й том вышел в свет в декабре 2013 г.), Анны Дагды (составление и комментарии, 2001), др. сборников, в том числе – сборника докладов, прочитанных на конференции, посвященной 70-летию О. Вацетиса «Свобода человека. Голос человека» (2005). Новейшая работа – избранные стихотворения Элзы Стерсте, Яниса Акуратера и Эвартса Вирзы „Parīzes noburtie” (выйдет из печати в декабре 2013 г.).

В целом опубликовано около 150 статей – в латвийской печати, несколько – и в зарубежной.

Олга Лисовска (1928) – поэт, переводчик. Закончила Литературный институт им. М. Горького и Высшие литературные курсы в Москве (1965); работала в редакции газеты „Literatūra un Mākslā”, журнала „Karogs”, в изд-ве „Liesma”. Автор нескольких поэтических сборников, как оригинальных, так и переводных (некоторые в соавторстве с др. переводчиками) – с английского, русского, украинского, чешского, словацкого и датского языков. Стихи О. Лисовски переведены на русский, белорусский, украинский, английский, немецкий и др. языки.

Аркадий Неминущий (1950), доктор филологии, профессор кафедры русистики и славистики Даугавпилсского университета, сфера интересов – творчество А.П. Чехова и русская литература 19-го - 20-го веков. Автор трех монографий и более 150-ти статей, опубликованных в научных изданиях Латвии, России, США, Италии, Испании, Венгрии, Польши и т.д.

Сергей Морейно (1964) – прозаик, поэт, переводчик. Родился в Москве, живет в Саулкрасты. Автор многих книг прозы, поэтических сборников,

переводов. Имеет публикации как в периодике Латвии – и на русском, и на латышском языках, так и в российских изданиях.

Владимир Новиков (1947) – поэт, прозаик, переводчик, художник книги. Автор многих сборников поэзии и прозы. Был главным редактором выходивших в Риге журналов «Гном» (1991 – 1995) и „Sveiki” (1993 – 1999). Редактор латвийского журнала «Вестник моряка».

Инара Озерская (1969) – поэт, прозаик, переводчик. Закончила филологический факультет Латвийского ун-та как филолог и переводчик. Журналист. Стихи, переводы, проза публиковались в журнале «Даугава», в «Рижском альманахе», в журнале «Шпиль», в сборнике «Черновик» (Москва). Автор сборника стихотворений «Там». Роман «Ересиарх» опубликован в журнале «Крещатик» (Германия). Публикация повести в сборнике «Лучшие фантастические рассказы 2008 года» (Азбука, Россия).

Светлана Погодина (1985) – Mg Philol, преподаватель факультета Гуманитарных наук ЛУ. Статьи публиковались в научных сборниках *Littera Scripta* (Rīga, Латвия), “Русская филология” (Тарту, Эстония), также в литовских и русских научных сборниках.

Борис Равдин (1942) – историк культуры. Окончил историко-филологический ф-т Латвийского ун-та, работал в школе учителем литературы, в 1991-2006 гг. – редактор отдела, соредaktor ж. «Даугава». Выступал со статьями и публикациями в разных изданиях. Автор, составитель и соредaktor ряда историко-культурных сборников.

Лариса Романенко (1923 – 2007) – поэт, переводчик. В 1940 г., закончив среднюю школу в Арзамасе (Горьковская обл.), поступила на филологический факультет Московского пединститута, позднее изучала энергетику. Училась на Высших литературных курсах в Москве. С 1960 года живет в Риге.

Л. Романенко – автор 17 поэтических сборников, в том числе – двух книг избранной лирики в переводе на латышский язык: „Ceļa vējš” (1974) и „Saknes” (1985). Последняя книга – «Времена жизни» – вышла в 2000 г. В ее переводах, в том числе в соавторстве с др. переводчиками, издано, свыше 20 книг латышской поэзии (среди авторов – Фр. Барда, Э. Адамсон, М.Кемпе, А. Элксне, Я. Сирмбардис, И. Аузинь, Кн. Скуениекс и др. классики и современные поэты).

Анастасия Стародедова (1982) закончила Латвийскую Академию культуры, магистр гуманитарных наук. Преподаватель, переводчик. Публикации: Стародедова А.А. Символика орнамента в латышских национальных поясах. Культура и время. 2005, №3; литературно-художественный альманах Пушкинского лицея ARS, 1998-2013 гг.

Вероника Тихомирова (1939) – закончила историко-филологический ф-т ЛУ (1962). Работала в Фундаментальной библиотеке АН, затем – главным библиографом в Латвийской национальной библиотеке (1970 – 2009). Одна из составителей библиографического указателя „Šekspīrs un Latvija: Bibliogr. Rādītājas / Sastādītājas: I. Spāde un V. Tihomirova; Rīga, LNB, 1992.

Марис Салейс (1971) – поэт, переводчик, литературовед. Закончил Художественную академию (1996); получил степень магистра библиотечно-информационных наук (ЛУ, 2005,); доктора филологии (ЛУ, 2011). Работал библиографом в Латвийской академии культуры, библиографом в Латвийской национальной библиотеке. В настоящее время – исследователь в Институте Литературы, фольклора и искусства ЛУ, а также куратор коллекций в Музее литературы и музыки. Автор нескольких поэтических сборников, монографии „Uldis Bērziņš. Dzīve un laiktelpas poētika”.

Перевел на латышский язык книгу Ч. Милоша «Родная Европа» (2011). Переводит поэзию с польского, украинского, русского, македонского и английского языков.

Янис Сирмбардис (1937) – поэт, переводчик. Закончил отделение латышского языка и литературы историко-филологического ф-та ЛГУ. Автор 13 сборников стихотворений и поэм. Известен как переводчик поэзии и прозы; среди переведенных авторов – А. Вознесенский, К. Кулиев, Н. Некрасов, Л. Озеров, Б. Пастернак, Л. Романенко, В. Светлов, Б. Акунин, украинские поэты М. Бажан, Дм. Павлычко, П. Осадчук, В. Стус и др., которые вошли в новейшую антологию украинской классической и современной поэзии на латышском языке «Ветер с Украины» (2009).

Владимир Френкель (1944) – поэт, эссеист. Учился в Латвийском университете, сначала на физико-математическом, затем на историческом факультете. В 1964 – 1968 гг. жил в Ленинграде. Работал в художественном музее, в газете.

В 1985 году арестован по делу о самиздате. В 1985 - 1986 годах - политзаключенный. В 1990 году реабилитирован согласно закону Латвийской республики 1990 года.

С 1987 года живет в Израиле, в Иерусалиме. Работает редактором в иерусалимском издательстве «Филобиблон». Публикации в журналах и альманахах: «Даугава» (Рига), «Вестник РХД» (Париж), «Огни столицы» (Иерусалим), «Иерусалимский журнал» (Иерусалим), «Христианос» (Рига), «Встречи» (Филадельфия), «Крещатик» (Москва), «Россия и мир» (Москва), «Nenocenzētie» (Рига) и др. В Риге и Иерусалиме издано семь сборников стихов: «Земное небо» (1977), «Проходя вдоль канала» (1990), «Размышления в пустом кафе» (2001) и др.

Ирина Цыгальская (1939) – прозаик, переводчик латышской прозы, поэзии. Издано несколько сборников рассказов, книга эссе и зарисовок «Все судьбы трагические» (2009). Публикации в журналах «Даугава», «Дружба народов», в «Рижском альманахе»; переводов – также в журнале «Родник».

